### Журавль в руках

#### Кир Булычев

Базар в городе был маленький, особенно в будние дни.

Три ряда крытых деревянных прилавков и неширокий двор, на котором жевали овес запряженные лошади. С телег торговали картошкой и капустой.

Будто принимая парад, я прошел мимо крынок с молоком, банок со сметаной, кувшинов, полных коричневого тягучего меда, мимо подносов с крыжовником, мисок с черникой и красной смородиной, кучек грибов и горок зелени. Товары были освещены солнцем, сами хозяева скрывались в тени, надо было подойти поближе, чтобы их разглядеть.

Увидев ту женщину, я удивился, насколько она не принадлежит к этому устоявшемуся, обычному уютному миру.

В отличие от прочих торговок, женщина никого не окликала, не предлагала своего товара — крупных яиц в корзине и ранних помидоров, сложенных у весов аккуратной пирамидкой, словно ядра у пушки.

Она была в застиранном голубом ситцевом платье, тонкие загоревшие руки обнажены. Высокая, она смотрела над головами прохожих, словно глубоко задумавшись. Цвета волос и глаз я не разглядел, потому что женщина низко подвязала белый платок и он козырьком выдавался надо лбом. Если кто-нибудь подходил к ней, она, отвечая, улыбалась. Улыбка была несмелой, но светлой и доверчивой.

Женщина почувствовала мой взгляд и обернулась. Так быстро оборачивается лань, готовая бежать.

Улыбка растаяла в углах губ. Я отвел глаза.

И, как бывает со мной, я сразу придумал ей дом, жизнь, окружающих людей.

Она живет в далекой деревне, и ее муж, коренастый, крепкий и беспутный, велел продать накопившиеся за неделю яйца и поспевшие помидоры. Потом он пропьет привезенные деньги и, мучимый похмельным раскаянием, купит на остатки платочек маленькой дочери...

Мне хотелось услышать ее голос. Я не мог уйти, не услышав его. Я подошел и, стараясь не смотреть ей в глаза, попросил продать десяток яиц. Тетя Алена ничего мне не говорила о яйцах — она велела купить молодой картошки к обеду. И зеленого лука.

Я смотрел на тонкие руки с длинными сухими пальцами и не мог представить, как она такими пальцами может делать крестьянскую работу. На пальце было тонкое золотое колечко — я был прав, она замужем.

— Пожалуйста, — сказала женщина.

— Сколько я вам должен? — спросил я, заглянув ей в лицо (глаза у нее были светлые, но какого-то необычного оттенка).

— Рубль, — ответила женщина, сворачивая из газеты кулек и осторожно укладывая туда яйца.

Я взял пакет. Яйца были крупные, длинные, а скорлупа была чуть розоватой.

— Издалека привезли? — спросил я.

— Издалека. — Она не глядела на меня.

— Спасибо, — сказал я. — Вы завтра здесь будете?

— Не знаю.

Голос был низким, глухим, даже хрипловатым, и она произносила слова тщательно и раздельно, словно русский язык был ей неродным.

— До свидания, — сказал я.

Она ничего не ответила.

Когда я вернулся домой, тетя Алена удивилась моей неловкой лжи о том, что молодой картошки на рынке не было, взяла кулек с яйцами, отнесла его на кухню и оттуда крикнула:

— Чего ты купил, Коля? Яйца-то не куриные.

— А какие? — спросил я.

— Утиные, наверное... Почем платил?

— Рубль.

Я прошел на кухню. Тетя Алена выложила яйца на тарелку, и они в самом деле показались мне совсем не похожими на куриные. Я сказал:

— Самые обыкновенные «яйца, тетя. Куриные.

Тетя Алена чистила морковку. Она развела руками — в одной зажата морковка, в другой нож. Вся ее поза говорила: «Если тебе угодно...»

Тетя Алена — единственная оставшаяся у меня родственница. Пять лет подряд я обещал приехать к ней и обманывал. И вдруг приехал. Причиной тому был вдруг вспыхнувший страх перед временем, могущим отнять у меня тетю Алену, которая пишет обстоятельные письма со старомодными рассуждениями и укорами погоде, посылает поздравления к праздникам и дню рождения, ежегодные банки с вареньем и ничем не выказывает обид на мои пустые обещания. Когда я приехал, тетя Алена не сразу поверила своему счастью. Я знаю, что она иногда поднимается ночами и подходит ко мне, чтобы убедиться, что я здесь. Детей у нее не было. Мужа убили на фронте, и меня она любила более, чем я того заслуживал.

Не прошло и недели в этом тихом городке на краю полей и лесов, как я, в который раз убедившись, что отдыхать не умею, начал тосковать по неустроенной привычной жизни, по книжкам Вольфсона и Трепетова на верхней полке и своей заочной с ними полемике. Но уехать так вот, сразу, когда тетя Алена заранее грустила о том, как скоротечны оставшиеся мне здесь две недели, было жестоко.

— Ты, наверное, куриных яиц и не видел, — догнал меня голос тети Алены. — И чем только вас в Москве кормят?

— Лучший способ разрешить наш спор, — ответил я, раскрывая старый номер «Иностранной литературы», — разбить пару-тройку яиц и поджарить.

Перед ужином я напомнил тете о своем решении.

— Может, до продовольственного добегу? — предложила тетя. — Простых куплю.

— Нет уж. Рискнем.

Поставив передо мной яичницу, тетя Алена налила заварки из чайника, извлеченного из-под подержанной, но все еще гордой ватной барыни, долила кипятком из самовара и отколола щипчиками аккуратный кубик сахара. Она делала вид, что мои эксперименты с яичницей ее не интересуют, плеснула чаю на блюдце, но в этот момент я занес вилку над тарелкой и она не выдержала.

— Я на твоем месте, — сказала она, — ограничилась бы чаем.

Желтки были оранжевыми, выпуклыми, словно половинки спелых яблок.

— Посолить не забудь, — подсказала тетя, полагая, что мною овладела нерешительность. В ее голосе звучала ирония. Она поправила очки, которые всегда съезжали на сухонький, острый нос. — Не робей.

На вкус яичница была почти как настоящая, хотя, конечно, не приходилось сомневаться в том, что прекрасная незнакомка продала мне вместо куриных какие-то иные, неизвестные в наших краях яйца, и я доставил искреннее удовольствие тете Алене, спросив:

— А какие яйца у тетеревов?

— Почему только тетерева? Есть еще вальдшнепы, глухари и даже журавли и орлы. Все птицы несут яйца. — Тетя Алена много лет преподавала в младших классах, и ее назидательная ирония была профессиональной.

— Правильно, — не сдавался я. — Страусы, соловьи и даже утконосы. Но главное в яйцах — их питательность. И вкус. А яичница отменная.

— Чаю налить? — спросила тетя Алена.

Когда стемнело, я вдруг поднялся и отправился гулять. В городском парке я уселся на скамейку неподалеку от танцевальной веранды. Я курил, я был снисходителен к мальчишкам и девчонкам, плясавшим под плохой, но старательный оркестр, и даже поспорил с сердитым стариком, обличавшим моды и прически ребят с таким энтузиазмом, что я представил, как он приходит сюда каждый вечер, влекомый неправильностью того, что здесь происходит, и почти детским негативизмом. Призывая старика к терпимости, я неожиданно испугался того, что куда ближе к нему, чем к ребятам, и защищаю даже не их, а самого себя, каким был лет двадцать назад. А ребята, стоявшие неподалеку, слышали наш спор, но говорили о своем и тоже были снисходительны к нам. Что из того, что я могу представить себе, как накопилось электричество в невидной за желтыми фонарями туче и блеснуло зарницей над театрально подсвеченными деревьями, что я вижу энергию, которая заставляет присевшую на скамейку капельку росы подняться шариком, потому что выучил ненужный пока этим ребятам пустяк — поверхностное натяжение воды при двадцати градусах равно 72,5 эрга на квадратный сантиметр. И ребята в лучшем положении, чем брюзгливый старик: кто-то из них еще узнает эту цифру или другие цифры. И полюбит их. А старик уже ничего не полюбит.

— Всех стричь, — настаивал старик. — У них же там вши заведутся. Точно вам говорю.

Валя Дмитриев погиб этой весной, измеряя свободную энергию поверхности в грозовой туче. У него тоже были длинные волосы, до плеч, и как раз в тот день утром зам по кадрам устроил ему беседу о внешнем виде молодого ученого.

Я ушел.

Подобрав под себя ноги в толстых шерстяных носках — перед дождем мучил ревматизм, — тетя Алена сидела на продавленном диване и читала «Анну Каренину». Рядом лежал знакомый — от медных застежек до вытертого голубого бархата обложки — и в то же время начисто забытый за двадцать лет пухлый альбом с фотографиями.

— Помнишь? — спросила тетя Алена. — Я сегодня сундук разбирала и наткнулась. Раньше ты любил его разглядывать. Бывало, сидишь на этом диване и допрашиваешь меня: «А почему у дяди такие погоны? А как звали ту собаку?..»

Я положил тяжелый альбом на стол под оранжевый с кистями абажур и попытался представить, что увижу, открыв его. И не вспомнил.

Альбом раскрылся там, где между толстыми картонными листами с прорезями для углов фотографий была вложена пачка поздних снимков, собранных, когда мест на листах уже не осталось. И сразу увидел самого себя. Я, совершенно обнаженный, лежал на пузе с идиотской самодовольной ухмылкой на мордочке, не подозревая, какие каверзы готовит мне жизнь. Признал я себя в этом младенце только потому, что такая же фотография, призванная умилять родственниц, была у меня в Москве. Потом в пачке встретилась групповая картинка «Пятигорск, 1953 год», с которой мне улыбались пожилые учительницы на фоне пышной растительности. Среди них была и тетя Алена. На фотографиях встречались знакомые лица, больше было незнакомых — тетиных сослуживцев, местных жителей, их детей и племянников.

Интереснее было полистать сам альбом, с начала. Мой прадедушка сидел в кресле, прабабушка стояла рядом, положив руку ему на плечо. Прадедушка был в студенческой тужурке, и я заподозрил, что он сидел не из избытка тщеславия, а потому что был мал ростом, худ и во всем уступал своей жене. Это уже относилось к области семейных преданий. И я уже знал, что на следующей странице увижу тех же — прадедушку с прабабушкой, но пожилых, солидных, в иной одежде, окруженных детьми и даже внуками, а среди них и тетя Алена, помеченная у ног белым крестиком, — она когда-то сама пометила себя, чтобы не спутать с другими представителями того же поколения семьи Тихоновых. Дальше — моя мать и тетя Алена, юбки до щиколоток и высокие зашнурованные башмаки. Они очень похожи и почему-то взволнованны. Фотографу удалось вызвать в их глазищах этот восторг. Птичку он им, что ли, показал? Это уже где-то незадолго до революции. Потом было несколько фотографий незнакомых мне, вернее, забытых людей.

— Кто это, не могу вспомнить...

Тетя Алена отложила «Анну Каренину», поднялась с дивана, наклонилась ко мне.

— Мой жених, — сказала она. Ты его, конечно, не знаешь. Он после революции в Вологде жил, каким-то начальником стал. А тогда, в шестнадцатом, его звали моим женихом. Не помню уж, почему. Очень я стеснялась. И этих ты тоже не можешь знать. Это врачи нашей земской больницы. Они отправлялись на фронт в санитарном поезде. Второй справа — мой дядя Семен. Отличный, говорят, был врач, золотые руки. Среди земских врачей, должна тебе сказать, были замечательные подвижники. Моего дядю лично знал Чехов, они с ним на холере работали.

— А что потом с ним случилось?

— Он погиб в девятнадцатом году. И его невеста погибла.

Дядя был суров, фуражка низко надвинута на лоб, шинель сидит неловко, словно он взял на складе первую попавшуюся.

— Где ж его невеста? — задумалась тетя Алена. — Ее, кажется, Машей звали. Рассказывали, что, когда Семен погиб, она дня два была как окаменелая. А потом исчезла. И никто ее никогда больше не видел.

— Может быть, она куда-нибудь уехала?

— Нет. Я знаю, что она погибла. Она без него жить не могла. — Тетя Алена листала альбом. — Ага, вот она, завалилась.

Почему-то невесту дяди Семена сфотографировали отдельно. Наверное, он сам попросил, чтобы иметь ее фотографию.

Снимок порыжел от времени. Он был наклеен на картон. Внизу вязью выдавлены фамилия и адрес фотографа. Маша была в темном платье с высоким стоячим воротником, в наколке с красным крестом.

Я знал ее.

Не только потому, что видел двадцать лет назад в этом альбоме, а может, и слышал уже о ее судьбе. Нет, я ее видел вчера на базаре. Значит, она не погибла... Чепуха какая-то. Я даже зажмурился, чтобы отогнать наваждение. Женщина на фотографии не улыбалась. Она смотрела серьезно — люди на старых фотографиях всегда серьезны, выдержка камер тех лет была велика, и улыбка не удерживалась на лице. Они собирались к фотографу в Вологде все вместе. Начинался семнадцатый год. Маша опоздала. Прибежала, когда фотограф уже складывал пластинки. А доктор Тихонов, немолодой, некрасивый, умный, золотые руки, уговорил сестру милосердия Марию сфотографироваться отдельно. Для него. Один снимок взял с собой. Другой оставил дома. И ничего не осталось от этих людей. Лишь маленький клочок их жизни, те драгоценные, крепкие, казалось бы, вечные узы, которые связывали их когда-то, живут еще в памяти тети Алены. И теперь в моей памяти. И почему-то в этих местах через много лет должна была вновь родиться Маша.

— Если хочешь поподробнее прочесть про дядю Семена, возьми книжку, я тебе достану. В Вологде вышла. «Выдающиеся люди нашего края». Там есть о дяде Семене. Несколько строк, конечно, но есть. Автор меня разыскал, он специально приходил...

Маша смотрела на меня серьезно, и белая наколка закрывала лоб, словно платок вчерашней незнакомки.

Тетя Алена долго укладывалась за стенкой, вздыхала, бормотала что-то, шуршала страницами книги. Далеко брехали собаки, и время от времени наш Шарик врывался в собачью беседу и тявкал под окном. По улице пронесся мотоцикл без глушителя, и не успел грохот мотора заглохнуть вдали, как мотоциклист развернулся и снова пронесся мимо, наверное, чтобы порадовать меня замечательной работой мотора. «Василий, — раздался за палисадником женский голос, — если не достанешь ребенку бадминтон, то я вообще не представляю, на что ты годен». Я посмотрел на часы. Без двадцати час. Самое время поговорить о бадминтоне.

...Листва яблони под окном была черной, но черной неодинаково — это создавало видимость объема, и дальние листья пропускали толику серого небесного сияния. На темно-сером летнем северном небе все никак не могли разгореться звезды, и, вздрагивая, листья сбрасывали их с шелкового полога. Но одна из звезд сумела пронзить лучом листву и, разгораясь, спустилась по этой дорожке к самому окну. Мягкое сияние проникло в комнату. Надо было бы встать, поглядеть, что происходит, но тело отказалось сделать хоть какое-то усилие. Кровать начала медленно раскачиваться, как бывает во сне, но я знал, что не сплю и даже слышу, как Василий длинно и скучно оправдывается, сваливая вину на кого-то, кто обещал, но обманул. Женщина с рынка вошла в комнату, причем умудрилась при этом не колыхнуть занавеской, не скрипнуть дверью. Она была странно одета — светлый длинный мешок, кое-где заштопанный, с прорезями для головы и рук, доставал до колен.

Ноги были босы и грязны. Женщина приложила к губам палец и кивнула в сторону перегородки. Она не хотела будить тетю Алену. Женщину звали Луш. Это было странное имя, даже неблагозвучное, но его легко было шептать: оно показалось мне пушистым.

...Мне не хотелось входить вслед за Луш в отверстие пещеры, потому что в темноте скрывалось нечто страшное, опасное — даже более опасное и страшное для Луш, чем для меня, потому что оно могло оставить там Луш навсегда. Луш протянула длинную тонкую руку и крепко обхватила мою твердыми пальцами. Нам надо было спешить, а не думать о страшном.

Я потерял Луш в переходе, освещенном тусклыми факелами, которые горели там так давно, что потолок на два пальца был покрыт черной копотью. Но я не мог войти в зал, где было слишком светло, потому что тогда я не выполнил бы обещанного...

— Ты чего не спишь? — спросила тетя Алена из-за перегородки. — Туши свет.

Я был благодарен тете Алене за то, что она вывела меня из пещеры. Но тревога за Луш осталась, и, отвечая тете Алене: «Сейчас тушу», я уже понимал, что мне пригрезился приход женщины, хотя я был уверен, что, если бы тетя Алена мне не помешала, я бы нашел Луш и постарался вывести ее из пещеры, откуда никто еще не выходил.

Ночью я несколько раз снова оказывался в подземелье и снова и снова шел тем же коридором, останавливаясь перед освещенным залом и кляня себя за то, что не могу переступить круг света. Луш я больше не видел.

Я проснулся рано, разбитый и переполненный все тем же иррациональным, так не вяжущимся с действительностью беспокойством за эту женщину.

— Как спал? — Тетя Алена вошла в комнату и стала поливать герань на подоконнике. — Хорошие сны видел?

Для нее смотрение снов — занятие, сходное с походом в кино. Я же сны вижу редко. И сразу забываю. Я вскочил с диванчика, и он взвыл всеми своими пружинами.

— Пойдешь за грибами?

— Нет, поброжу по городу.

— Только яиц больше не покупай, — засмеялась тетя Алена. — Ты еще вчерашние не доел.

Через час я был на рынке. Я прошел мимо крынок с молоком и ряженкой, мимо банок с коричневым тягучим медом, подносов с крыжовником и кислой красной смородиной. Вчерашней женщины не было, да и не должно было быть.

На следующее утро — не пропадать же добру — тетя Алена сварила мне еще два яйца, в мешочке. Через полчаса после завтрака, на пляже, за городским парком, я почувствовал жужжание в голове и увидел, как в небе среди облаков плывет остров, но смотрю я на него не снизу, как положено, а сверху. На плохо убранное поле, на стоящие вокруг хижины, обнесенные высоким покосившимся тыном. Луш выбежала из хижины к сухому дереву, на котором висел человек, и стала мне махать, чтобы я скорее к ней спускался. Но я не мог спуститься, потому что я был внизу, на пляже, а остров летел среди облаков. Рядом со мной мальчишки играли в волейбол полосатым детским мячом, а у ларька с лимонадом и мороженым кто-то уверял продавщицу, что обязательно принесет бутылку обратно. Я смотрел сверху на удаляющийся остров, и фигурка Луш стала совсем маленькой; она выбежала в поле, а те, кто гнались за ней, уже готовы были выпрыгнуть из-за тына. Потом я заснул и проспал, наверное, часа два, потому что, когда очнулся, солнце поднялось к зениту, обожженная спина саднила, киоск закрылся, волейболисты переплыли на другой берег и там играли детским полосатым мячом в футбол.

По роду своей деятельности я пытаюсь связывать причины и следствия. Придя домой, я вынул из шкафа на кухне оставшиеся пять яиц, переложил их в пустую коробку из-под туфель и перенес к себе за перегородку. Тети Алены не было дома. Я поставил коробку на шкаф, чтобы до нес не добрался кот. Я думал отвезти яйца в Москву, показать одному биологу.

Но моя идея лопнула на следующий же день. Я проснулся от грохота. Кот свалился со шкафа вместе с коробкой. По полу, сверкая под косым лучом утреннего солнца, разлилось месиво из скорлупы, белков и желтков. Кот, ничуть не обескураженный падением, крался к диванчику. Я свесил голову и увидел, что туда же, с намерением скрыться в темной щели, ковыляет пушистый, очень розовый птенец побольше цыпленка, с длинным тонким клювом и ярко-оранжевыми голенастыми ногами.

— Стой! — крикнул я коту. Но опоздал.

В двух сантиметрах от протянутой руки кот схватил цыпленка и извернулся, чтобы не попасть мне в плен. На подоконнике он задержался, нагло сверкнул на меня дикими зелеными глазами и исчез. Пока я выпутывался из простынь и бежал к окну, кота и след простыл.

Я стоял, тупо глядя на разбитые яйца, на лежащую на боку коробку из-под туфель. Вернее всего, кот услыхал, как птенец выбирается на свет, заинтересовался и умудрился взобраться на шкаф.

— Что там случилось? — спросила тетя Алена из-за перегородки. — С кем воюешь?

— Твой кот все погубил.

В необычного цыпленка тетя не поверила. Сказала, что мне померещилось со сна. А про разбитые яйца добавила:

— Не надо было из кухни выносить. Целее были бы.

Мне не приходилось видеть ярко-розовых цыплят, которые выводятся из яиц, внушающих грезы наяву. Притом существовала прекрасная незнакомка, присутствие которой придавало сюжету загадочность.

Я решил самым тщательным образом обыскать палисадник, столь прискорбно уменьшившийся со времени моих детских приездов сюда. Тогда он казался мне обширным, дремучим, впору заблудиться. А всего-то умещались в нем, да и то в тесноте, два куста сирени, корявая яблоня, дарившая тете Алене кислые дички на повидло, да жасмин вдоль штакетника. Зато ближе к дому, там, куда попадал солнечный свет, пышно разрослись цветы и травы — флоксы, золотые шары, лилии и всякие другие полу одичавшие жители бывших клумб или грядок, порой случайные пришельцы с соседних садов и огородов — из травы и полыни поднимались курчавые шапки моркови, зонтики укропа и даже одинокий цветущий картофельный куст. На его листе я и нашел клочок розового пуха.

Принеся пух домой, я заклеил его в почтовый конверт. Если науке известны такие птицы, розового пуха должно хватить.

— На базар? — спросила проницательная тетя Алена.

— Погулять собрался, — сказал я.

Ту женщину я увидел только на пятый день. Я ходил на рынок, как на службу. Проходил его три, четыре, пять раз за день. Примелькался торговкам и сам знал их в лицо. На пятый день я увидел ее и сразу узнал, хотя она была без платка и лицо ее, обрамленное тяжелыми светлыми волосами, странным образом изменилось, помягчело. С реки дул свежий ветерок, она накинула на плечи черный с розами платок, и концы волос шевелились, взлетали над черным полем. Глаза ее были зелеными, брови высоко проведены по выпуклому лбу. У нее были полные, но не яркие губы и тяжеловатый для такого лица подбородок.

Она не сразу заметила меня — была занята с покупателями. На этот раз перед ней лежала груда больших красных яблок, и у прилавка стояла небольшая очередь.

Я уже привык приходить на рынок и не заставать ее. Поэтому ее появление здесь показалось сначала продолжением грез, в которых ее зовут Луш.

Мне некуда было спешить; чтобы успокоиться, я отошел в тень и следил за тем, как она продает яблоки. Как устанавливает на весы гири и иногда подносит их к глазам, будто она близорука или непривычна к гирям. Как всегда, добавляет лишнее яблоко, чтобы миска весов с плодами перевешивала. Как прячет деньги в потертый кожаный плоский кошелек и оттуда же достает сдачу, тщательно ее пересчитывая.

Когда гора яблок на прилавке уменьшилась, я встал в очередь. Передо мной было три человека. Она все еще меня не замечала.

— Здравствуйте. Мне килограмм, пожалуйста, — сказал я, когда подошла моя очередь. Женщина не подняла глаз.

— Мало берешь, — встряла старушка, отходившая от прилавка с полной сумкой. — Больше бери, жена спасибо скажет.

— Нет у меня жены.

Женщина подняла глаза. Она наконец согласилась меня признать.

— Вы меня помните? — спросил я.

— Почему же не помнить? Помню.

Она быстро кинула на весы три яблока, которые потянули на полтора кило.

— Рубль, — сказала она.

— Большое спасибо. Здесь больше килограмма.

Я не спеша копался в карманах, отыскивая деньги.

— А яиц сегодня нет?

— Яиц нет, — ответила женщина. — Яйца случайно были. Я их вообще не продаю.

— А вы далеко живете?

— Молодой человек, — сказал мужчина в парусиновой фуражке и слишком теплом, не по погоде, просторном костюме. — Закончили дело, можете не любезничать. У меня обеденный перерыв кончается.

— Я далеко живу, — объяснила женщина.

Мужчина оттеснил меня локтем.

— Три килограмма, попрошу покрупнее. Можно подумать, что вы не заинтересованы продать свой товар.

— Вы еще долго здесь будете? — спросил я.

— Я сейчас заверну, — предложила женщина. — А то нести неудобно.

— Сначала попрошу меня обслужить, — вмешался мужчина в фуражке.

— Обслужите его, — согласился я. — У меня обеденный перерыв только начинается.

Когда мужчина ушел, женщина взяла у меня яблоки, положила их на прилавок и принялась сворачивать газетный кулек.

— А яблоки тоже особенные? — спросил я.

— Почему же особенные?

— Яйца оказались не куриными.

— Да что вы... если вам не понравилось, я деньги верну.

Она потянулась за кожаным кошельком.

— Я не обижаюсь. Просто интересно, что за птица...

— Вы покупаете? — спросили сзади. — Или так стоите?

Я отошел. Яблоки кончились. Я встал в тени, достал из кулька одно из яблок, вытер его носовым платком и откусил. Женщине видны были мои действия, и, когда я вертел яблоко в руке, разглядывая, я встретил ее взгляд. Я тут же улыбнулся, стараясь убедить ее улыбкой в своей полной безопасности, она улыбнулась в ответ, но улыбка получилась робкой, жалкой, и я понял, что лучше уйти, пожалеть ее. Но уйти я не смог. И дело было не только в любопытстве: я боялся, что не увижу ее снова.

Женщина не торопилась, движения ее потеряли сноровку и стали замедленными и неловкими, словно она оттягивала тот момент, когда отойдет последний покупатель и вернусь я.

Яблоко было сочным и сладким. Такие у нас не растут, а если и появятся в саду какого-нибудь любителя-селекционера, то не раньше августа. Мне показалось, что яблоко пахнет ананасом. Я добрался до середины и вытащил из огрызка косточку. Косточка была одна. Длинная, острая, граненая. Никакое это не яблоко.

Я видел, как женщина высыпала из корзины последние яблоки, сложила деньги в кошелек, закрыла его. И тогда, сделав несколько шагов к ней, я произнес негромко:

— Луш.

Женщина вздрогнула, выронила кошелек на прилавок. Она хотела подобрать его, но рука не дотянулась, замерла в воздухе, словно женщина сжалась, замерла в ожидании удара, когда все, что было до этого, теряет всякий смысл перед физической болью.

— Простите, — сказал я, — простите. Я не хотел вас испугать...

— Меня зовут Мария Павловна. — Голос был сонный, глухой, слова заученные, как будто она давно ждала этого момента и в страхе перед его неминуемостью репетировала ответ. — Меня зовут Мария Павловна.

— Именно так. — Второй голос пришел сзади, тихий и злой. — Мария Павловна. И вас это не касается.

Небольшого роста пожилой человек с обветренным темным лицом, в выгоревшей потертой фуражке лесника отодвинул меня и накрыл ладонями пальцы Марии Павловны.

— Тише, Маша, тише. Люди глядят. — Он смотрел на меня с таким холодным бешенством в белесых глазах, что у меня мелькнуло: не будь вокруг людей, он мог бы и ударить.

— Извините, — смутился я. — Я не думал...

— Он пришел за мной? — спросила Маша, выпрямляясь, но не выпуская руки лесника.

— Ну что ты, что ты... Молодой человек обознался. Сейчас домой поедем.

— Я уйду, — сказал я.

— Иди.

Я не успел отойти далеко. Лесник догнал меня.

— Как ты ее назвал? — спросил он.

— Луш. Это случайно вышло.

— Случайно, говоришь?

— Приснилось.

Я говорил ему чистую правду, и я не знал своей вины перед этими людьми, по вина была, и она заставляла меня послушно отвечать на вопросы лесника.

— Имя приснилось?

— Я видел Марию Павловну раньше. Несколько дней назад.

— Где?

— Здесь, на рынке.

Лесник, разговаривая со мной, поглядывал в сторону прилавка, где женщина неловко связывала пустые корзины, складывала на весы гири, собирала бумагу.

— И что дальше?

— Я был здесь несколько дней назад. И купил десяток яиц.

— Сергей Иванович, — окликнула женщина, — весы сдать надо.

— Сейчас помогу.

Кто он ей? Он старше вдвое, если не втрое. Но не отец. Отца по имени-отчеству в этих краях не называют.

Лесник не хотел меня отпускать.

— Держи. — Он протянул мне чашку весов, уставленную кеглями гирь. Сам взял весы. Мария Павловна несла сзади пустые корзины. Она шла так, чтобы между нами был лесник.

— Маша, ты яйцами торговала? — спросил лесник.

Она не ответила.

— Я ж тебе не велел брать. Не велел, спрашиваю?

— Я бритву хотела купить. С пружинкой. Вам же нужно?

— Дура, — сказал лесник.

Мы остановились у конторы рынка.

— Заходи, — велел он мне.

— Я тоже, — сказала Маша.

— Подождешь. Ничего с тобой здесь не случится. Люди вокруг.

Но Маша пошла с нами и, пока мы сдавали весы и гири сонной дежурной, молча стояла у стены, оклеенной санитарными плакатами о вреде мух и бруцеллезе.

— Я вам деньги отдам, — сказала Маша леснику, когда мы вышли, и протянула кошелек.

— Оставь себе, — проворчал Сергей Иванович.

Мы остановились в тени за служебным павильоном. Лесник посмотрел на меня, приглашая продолжить рассказ.

— Яйца были необычными, — продолжал я. — Крупнее куриных и цвет другой... Потом я увидел сон. Точнее, я грезил наяву. И в этом сне была Мария Павловна. Там ее звали Луш.

— Да, — сказал лесник.

Он был расстроен. Ненависть ко мне, столь очевидная в первый момент, исчезла. Я был помехой, но не опасной.

— Мотоцикл у ворот стоит, — показал лесник Маше. — Поедем? Или ты в магазин собралась?

— Я в аптеку хотела. Но лучше в следующий раз.

— Как хочешь. — Лесник посмотрел на меня. — А вы здесь что, в отпуске? — Он стал официально вежлив.

— Да.

— То-то я вас раньше не встречал. Прощайте.

— До свидания.

Они ушли. Маша чуть сзади. Она сутулилась, может, стеснялась своего высокого роста. На ней были хорошие, дорогие туфли, правда, без каблуков.

Я не сдержался. Понял, что никогда больше их не увижу, и догнал их у ворот.

— Погодите, — попросил я.

Лесник обернулся, потом махнул Маше, чтобы шла вперед, к мотоциклу.

— Сергей Иванович, скажите только, что за птица? Я ведь цыпленка видел.

Маша молча привязывала пустые корзины к багажнику.

— Цыпленка?

— Ну да. Розовый, голенастый, с длинным клювом.

— Бог его знает. Может, урод вылупился. От этого... от радиации... Вообще-то яйца обыкновенные.

Лесник уже не казался ни сильным, ни решительным. Он как-то ссохся, постарел и даже стал невзрачным.

— И яблоки обыкновенные?

— К чему нам людей травить?

— Такие здесь не растут.

— Обыкновенные яблоки, хорошие. Просто сорт такой.

Сергей Иванович пошел к мотоциклу. Маша уже ждала его в коляске.

Из ворот рынка вышел человек, похожий на арбуз. И нес он в руке сетку, в которой лежало два арбуза. Арбузы были ранние, южные, привез их молодой южанин, задумчивый и рассеянный, как великий математик из журнального раздела «Однажды...». Продавал он эти арбузы на вес золота, и потому брали их неохотно, хотя арбузов хотелось всем.

— Сергей! — возопил арбузный толстяк. — Сколько лет!

Лесник поморщился, увидев знакомого.

— Как жизнь, как охота? — Толстяк поставил сетку на землю, и она тут же попыталась укатиться. Толстяк погнался за ней. — Все к вам собираемся, по дела, дела...

Я пошел прочь. Сзади раздался грохот мотора. Видно, лесник не стал вступать в беседу. Мотоцикл обогнал меня. Маша обернулась, придерживая волосы. Я поднял руку, прощаясь с ней.

Когда мотоцикл скрылся за поворотом, я остановился. Арбузный человек переходил улицу. Я настиг его у входа в магазин.

— Простите, — сказал я. — Вы, я вижу, тоже охотник.

— Здравствуйте, рад, очень рад. — Арбузный человек опустил сетку на асфальт, и я помог ему поймать арбузы, когда они покатились прочь. Мы придерживали беспокойную сетку ногами.

— Охота — моя страсть, — сообщил толстяк. — А не охотился уже два года. Можете поверить? Вы у нас проездом?

— В отпуске. Вы, я слышал, собираетесь...

— К Сергею? Обязательно его навещу! Тишь, природа, ни души на много километров. Чудесный человек, настоящий русский характер, вы меня понимаете? Только пьет. Ох, как пьет! Но это тоже черта характера, вы меня понимаете? Одиночество, он да собака...

— Разве он был не с женой?

— Неужели? Я и не заметил. Наверное, подвозил кого-то. А как он знает лес, повадки зверей и птиц, даже ботанические названия растений — не поверите! Вы не спешите? Я тоже. Значит, так, купим чего-нибудь и ко мне, пообедаем. Надеюсь, не откажете...

До деревни Селище по шоссе я ехал на автобусе. Оттуда попутным грузовиком до Лесновки, а дальше пешком по проселочной дороге, заросшей между колеями травой и даже тонкими кустиками. Дорогой пользовались редко. Она поднималась на поросшие соснами бугры, почти лишенные подлеска, и крепкие боровики, вылезающие из сухой хвои, были видны издалека. Потом дорога ныряла в болотце, в колеях темнела вода, по сторонам стояла слишком зеленая трава и на кочках синели черничины. Стоило остановиться, как остервенелые комары впивались в щиколотки и в шею. На открытых местах догоняли слепни — они вились, пугали, но не кусали.

Охотник я никакой. Я выпросил у тети Алены ружье ее покойного мужа, отыскал патроны и пустой рюкзак, в который сложил какие-то консервы, одеяло и зубную щетку. Но маскарад не был предназначен для лесника, скорее, он должен был обмануть тетю Алену, которой я сказал, что договорился об охоте со старым знакомым, случайно встреченным на улице.

Трудно было бы вразумительно объяснить — и ей, и кому угодно, себе самому, наконец, — почему я пристал к арбузному толстяку Виктору Донатовичу, добрейшему ленивому чревоугоднику, живущему мечтами об охотах, о путешествиях, которые приятнее предвкушать, чем совершать; пришел к нему в гости, обедал, был любезен с такой же ленивой и добродушной его супругой, скучал, но получил-таки координаты лесника. Чем объяснить мой поступок? Неожиданной влюбленностью? Тайной — грезы, цыплята, яблоки, страх женщины, которой знакомо странное имя Луш, гнев лесника? Просто собственным любопытством человека, который не умеет отдыхать и оттого придумывает себе занятия, создающие видимость деятельности? Или недоговоренностью? Привычкой раскладывать все по полочкам? Или, наконец, бегством от собственных проблем, требующих решения, и желанием отложить это решение за видимостью более неотложных дел? Ни одна из этих причин не была оправданием или даже объяснением моей выходки, а вместе они неодолимо толкали бросить все и уйти на поиски принцессы, Кащея, живой воды и черт знает чего. В оправдание могу сказать, что шел все-таки с тяжелым сердцем, потому что был гостем нежданным и, главное, нежеланным. Не нужен я был этим людям, неприятен. И будь я лучше или хотя бы сильнее, то постарался бы забыть обо всем, так как сам отношу назойливость к самым отвратительным свойствам человеческой натуры.

...Дом лесника стоял на берегу маленького озера, в том месте, где лес отступил от воды. К дому примыкали сарай и небольшой огород, окруженный невысокими кольями, по-южному заплетенными лозой. Дом был стар, поседел — от серебряной дранки на крыше до почти белых наличников. Но стоял он крепко, как те боровики, что встречались на пути. У берега, привязанная цепью, покачивалась лодка. Порывами пролетавший над водой ветер колыхал осоку. Вечер наступал теплый, комариный. Собиравшийся дождь пропитал воздух нетяжелой, пахнущей грибами и влажной листвой сыростью.

Я остановился на краю леса. Маша была в огороде. Она полола, но как раз в тот момент, когда я увидел ее, распрямилась и поглядела на озеро. Она была одна — Сергей Иванович, наверное, в лесу. Я понял, что могу стоять так до темноты, но не подойду к ней — ведь даже на рынке, в толпе, мои неосторожные слова едва не заставили ее заплакать. И, конечно, не пошел к дому. Постоял еще минут пятнадцать, заслонившись толстым стволом сосны. Маша, кончив полоть, взяла с земли тяпку, занесла в сарай. Скрип сарайной двери был так четок, словно я был совсем рядом. Выйдя из сарая, она посмотрела в мою сторону, но меня не увидела. Потом ушла в дом. Начал накрапывать дождь. Он был мелок, тих и дотошен — ясно, что кончится нескоро. Я повернулся и пошел обратно, к Селищу. Я ведь никакой охотник и тем более никуда не годный сыщик.

Лес был другой. Он сжался, потерял глубину и краски, он уныло и покорно переживал вечернюю непогоду. Над дорогой дождь моросил мелко и часто, но на листьях вода собиралась в крупные, тяжелые капли, которые, срываясь вниз, гулко щелкали по лужам в колеях. Я выйду на шоссе в полной темноте, и неизвестно еще, отыщу ли попутку. И поделом.

Впереди затарахтел мотоцикл. Я не успел сообразить, кто это, и отступить с дороги, как Сергей Иванович, сбросив ногу на землю, резко затормозил.

— Ну, здравствуй, — сказал он, откидывая с фуражки капюшон плащ-палатки. Будто и не удивился. — Куда идешь?

— Я к вам ходил, — ответил я.

— Ко мне в другую сторону.

— Знаю. Я дошел до опушки, увидел дом, Марию Павловну. И пошел обратно.

Крепкие кисти лесника лежали на руле. Фуражка была низко надвинута на лоб.

— И чего же обратно повернул?

— Стыдно стало.

— Не понял.

— Я узнал ваш адрес, взял ружье, решил к вам приехать, поохотиться.

— Так охотиться ехал или как?

— Поговорить.

— Раздумал?

— Когда увидел Марию Павловну одну — раздумал.

Лесник вынул из внутреннего кармана тужурки гнутый жестяной портсигар, перетянутый резинкой, достал оттуда папиросу. Потом подумал, протянул портсигар мне. Мы закурили, прикрывая от дождя яркий в сумерках огонек спички. Лесник поглядел на дорогу впереди, потом обернулся. В лесу стоял комариный нервный звон, листва приобрела цвет воды в затененном пруду.

— Садись. Ко мне поедешь. — Лесник откинул брезент с коляски мотоцикла. — Я бы тебя до Селища подкинул, да не люблю Машу одну вечером оставлять.

— Ничего, — сказал я. — Дойду. Сам виноват.

Лесник усмехнулся. Усмешка показалась мне недоброй.

— Садись.

Коляска высоко подпрыгивала на буграх и проваливалась в колеи. Лесник молчал, сжимая зубами мундштук погасшей папиросы.

Маша услышала треск мотоцикла и вышла встречать к воротам. Лесник сказал:

— Принимай гостя.

— Здравствуйте, — кивнул я, вылезая из коляски. Ружье мне мешало.

— Добрый вечер. — Маша смотрела на Сергея Ивановича.

— Сказал: принимай гостя. Покажи, где умыться — человек с дороги. На стол накрой. — Он говорил сухо и подбирал будничные слова, словно хотел сказать, что я ничем не выделяюсь из числа случайных путников, если такие попадаются в этих местах. — В лесу встретил охотника, подвез. Куда человеку в такую темень до Селища добираться?

— Он не охотник, — возразила Маша. — Зачем он приехал?

— Ну, пусть не охотник, — согласился лесник. — Я мотоцикл в сарай закачу, а то дождь ночью разойдется.

— Я вас не стесню, — сказал я Маше. — Завтра с утра уеду.

— Так и будет, — подтвердил лесник.

Маша убежала в дом.

— Не обращай внимания, — сказал лесник, запирая сарай на щеколду. — Она диковатая. Но добрая. Пошли руки мыть.

В доме засветилось окно.

— У меня водка есть, — вспомнил я. — В рюкзаке.

— Это Донатыч подсказал?

— Он, — сознался я.

— А я второй год не пью. И потребности не чувствую.

— Извините.

— А чего извиняться? В гости ехал. Ты не думай, я за компанию могу. Маша возражать не будет. Как тебя величать прикажешь?

— Николаем.

Рукомойник был в сенях. Возле него на полочке уже стояла зажженная керосиновая лампа.

— Электричества у нас нету, — пояснил лесник. — Обещали от Лесновки протянуть. В сенокос бригада жить будет. Может, в будущем году при свете заживем.

— Ничего, — сказал я. — И так хорошо.

В комнате был накрыт стол: наверное, лесник возвращался домой в одно и то же время. Шипел самовар, в начищенных боках которого отражались огни двух старых, еще с тех времен, когда их старались делать красивыми, керосиновых ламп. Дымилась картошка, стояла сметана в банке, огурцы. Было уютно и мирно, и уют этого дома подчеркивал дождь. Дождь, стучавший в окно и стекавший по стеклу ветвистыми ручейками.

— Я эти стулья из города привез, — похвастался лесник. — Мягкие.

— Хорошо у вас.

— Маше спасибо. Даже обои наклеил. Если бы Донатыч или кто из старых охотников сюда нагрянул, не поверили бы. Да я теперь их не приглашаю.

На этажерке между окнами стоял транзисторный приемник. За приоткрытой занавеской виднелась кровать с аккуратно взбитыми, пирамидой, подушками. К стене, под портретом Гагарина, была прибита полка с книгами.

— Водку достать? — спросил я.

— Давай.

— Сергей Иванович, — услышала нас Маша.

— Не беспокойся. Ты же меня знаешь. Как твой рыбник, удался?

— Попробуйте.

Может, я в самом деле приехал сюда в гости? Просто в гости.

От сковороды с пышным рыбником поднимался душистый пар. Оказывается, я страшно проголодался за день. Маша поставила на стол два граненых стакана. Потом села сама, подперла подбородок кулаками.

— За встречу, — предложил я. — Чтобы мы стали друзьями.

Этого говорить не стоило. Это напомнило всем и мне тоже, почему я здесь.

— Не спеши, — возразил лесник. — Мы еще и не знакомы.

Он отхлебнул из стакана, как воду, и отставил стакан подальше.

— Отвык, — сказал он. — Ты пей, не стесняйся.

— Вообще-то я тоже не пью.

— Ну вот, два пьяницы собрались. — Лесник засмеялся. У него были крепкие, ровные зубы, и лицо стало добрым. Там, в городе, он казался старше, суше, грубее.

Маша тоже улыбнулась. И мне досталась доля ее улыбки.

Мы ели не спеша, рыбник был волшебный. Мы говорили о погоде, о дороге, как будто послушно соблюдали табу.

Только за чаем Сергей Иванович спросил:

— Ты сам откуда будешь?

— Из Москвы. В отпуске я здесь, у тетки.

— Потому и любопытный? Или специальность такая?

Я вдруг подумал, что в Москве, в институте, такие же, как я, разумные и даже увлеченные своим делом люди включили кофейник, который тщательно прячут от сурового пожарника, завидуют мне, загорающему в отпуске, рассуждают о той охоте, на которую должны выйти через две недели, — на охоту за зверем по имени СЭП, что означает — свободная энергия поверхности. Зверь этот могуч, обитает он везде, особенно на границах разных сред. И эта его известная всем, но далеко еще не учтенная и не используемая сила заставляет сворачиваться в шарики капли росы и рождает радугу. Но мало кто знает, что СЭП присуща всем материальным телам и громадна: запас поверхностной энергии мирового океана равен 64 миллиардам киловатт-часов. Вот на какого зверя мы охотимся, не всегда, правда, удачно. И выслеживаем его не для того, чтобы убить, а чтобы измерить и придумать, как заставить его работать на нас.

— Я в НИИ работаю, — сказал я леснику.

А вот работаю ли?.. Скандал был в принципе никому не нужен, но назревал он давно. Ланда сказал, что в Хорог ехать придется мне. Видите ли, все сорвется, больше некому. А два месяца назад, когда я добился согласия Андреева на полгода для настоящего дела, для думанья, он этого не знал? В конце концов, можно гоняться за журавлями в небе до второго пришествия, но простое накопление фактов хорошо только для телефонной книги. Я заслужил, заработал, наконец, право заняться наукой. На-у-кой! И об этом я сказал Ланде прямо, потому что мне обрыдла недоговоренность. Словом, после этого разговора я знал, что в Хорог не поеду. И в институте не останусь...

— А я вот не выучился. Не пришлось. Может, таланта не было. Был бы талант — выучился.

Он пил чан вприкуску, с блюдца. Мы приканчивали по третьей чашке. Маша не допила и первую. Мной овладело размягченное нежное состояние, и хотелось сказать что-нибудь очень хорошее и доброе, и хотелось остаться здесь и ждать, когда Маша улыбнется. За окном стало совсем темно, дождь разошелся, и шум его казался шумом недалекого моря.

— На охоте давно был? — спросил Сергей Иванович.

— В первый раз собрался.

— Я и вижу. Ружье лет десять не чищено. Выстрелил бы, а оно в куски.

— А я его и не заряжал.

— Еще пить будешь?

— Спасибо, я уже три чашки выпил.

— Я про белое вино спрашиваю.

— Нет, не хочется.

— А я раньше — ох как заливал. Маше спасибо.

— Вы сами бросили, — сказала Маша.

— Сам редко кто бросает. Правда? Даже в больнице лежат, а не бросают.

— Правда.

— Ну что ж, спать будем собираться. Не возражаешь, если на лавке постелим? Николай, все-таки как тебя по батюшке?

— Просто Николай. Я вам в сыновья гожусь.

— Ты меня старостью не упрекай. Может, и годишься, да не мой сын. Когда на двор пойдешь, плащ мой возьми.

Мы встали из-за стола.

— А вы здесь рано ложитесь? — спросил я.

— Как придется. А тебе выспаться нужно. Я рано подыму. Мне уезжать. И тебе путь некороткий.

И я вдруг обиделся. Беспричинно и в общем безропотно. Если тебе нравятся люди, ты хочешь, чтобы и они тебя полюбили. А оказалось, я все равно чужой. Вторгся без спроса в чужую жизнь, завтра уеду и все, нет меня, как умер.

Сверчок стрекотал за печью — я думал, что сверчки поют только в классической литературе. Лесник улегся на печке. Маша за занавеской. Занавеска доходила до печки, и голова Сергея Ивановича была как раз над головой Маши.

— Вы спите? — прошептала Маша.

— Нет, думаю.

— А он спит?

— Не пойму.

— Спит вроде.

Она была права. Я спал, я плыл, покачиваясь, сквозь темный лес, и в шуршании листвы и стуке капель еле слышен был их шепот. Но комната тщательно собирала их слова и приносила мне.

— Я так боялась.

— Чего теперь бояться. Рано или поздно кто-нибудь догадался бы.

— Я во всем виновата.

— Не казнись. Что сделано, то сделано.

— Я думала, что он оттуда.

— Нет, он здешний.

— Я знаю. У него добрые глаза.

Слышно было, как лесник разминает папиросу, потом зажглась спичка, и он свесился с печи, глядя на меня. Я закрыл глаза.

— Спит, — сказал он. — Устал. Молодой еще. Он не из-за яиц бегал.

— А почему?

— Из-за тебя. Красивая ты, вот и бегал.

— Не надо так, Сергей Иванович. Для меня все равно нет человека лучше вас.

— Я тебе вместо отца. Ты еще любви не знала.

— Я знаю. Я вас люблю, Сергей Иванович.

Легонько затрещал табак в папиросе. Лесник сильно затянулся.

Они замолчали. Молчание было таким долгим, что я решил, будто они заснули. Но они еще не заснули.

— Он не настырный, — сказал лесник.

Хорошо ли, что я не настырный? Будь я понастырней, на мне никто никогда бы не пахал и Ланде в голову бы не пришло покуситься на эти мои полгода — цепочка мыслей упрямо тянула меня в Москву...

— А зачем сюда шел? — спросила Маша.

— Он не дошел, повернул. Как увидел тебя одну, не захотел тревожить. Я его на обратном пути встретил.

— Я не знала. Он видел меня?

— Поглядел на тебя и ушел.

Опять молчание. На этот раз зашептала Маша:

— Не курили бы вы. Вредно вам. Утром опять кашлять будете.

— Сейчас докурю, брошу.

Он загасил папиросу.

— Знаешь что, Маша, решил я. Если завтра он снова разговор поднимет, все расскажу.

— Ой, что вы?

— Не бойся. Я давно хочу рассказать. Образованному человеку. А Николай — москвич, в институте работает...

Я неосторожно повернулся, лавка скрипнула.

— Молчите, — прошептала женщина.

Я старался дышать ровно и глубоко. Я знал, что они сейчас прислушиваются к моему дыханию.

— Как спалось? — спросил Сергей Иванович, увидев, что я открыл глаза. Он был уже выбрит, одет в старую застиранную гимнастерку.

— Доброе утро. Спасибо.

Утро было не раннее. Сквозь открытое окошко тек душистый прогретый воздух. Сапоги лесника были мокрыми — ходил куда-то по траве. Топилась печь, в ней что-то булькало, кипело.

Я спустил ноги с лавки.

— Жалко уезжать, — сказал я.

— Это почему же? — спросил лесник спокойно.

— Хорошо тут у вас, так и остался бы.

— Нельзя, — возразил лесник и улыбнулся одними губами. — Ты у меня Машу сманишь.

— Она же вас, Сергей Иванович, любит.

— Да?.. Ты как, ночью не просыпался?

— Просыпался. Слышал ваш разговор.

— Нехорошо. Мог бы и показать.

Я не ответил.

— Так я и думал. Может, и лучше: не надо повторять. Путей к отступлению, как говорится, нету.

И он вдруг подмигнул мне, словно мы с ним задумали какую-то каверзу.

— Одевайся скорей, мойся, — сказал он. — Маша вот-вот вернется. На огороде она, огурчики собирает тебе в дорогу. Ей-то лучше, чтобы ты уехал поскорее. И — забыть обо всем.

— Огурчики обыкновенные? — спросил я.

— Самые обыкновенные. Если хочешь, в озере искупнись. Вода парная.

Я мылся в сенях, когда вошла Маша, неся в переднике огурцы.

— Утро доброе, — поздоровалась она. — Коровы у нас нет. Сергей Иванович молоко из Лесновки возит. Как довезет на мотоцикле, так и сметана.

— Вы, наверное, росой умываетесь, — сказал я.

Маша потупилась, словно я позволил себе вольность. Но Сергей Иванович сказал:

— Воздух здесь хороший, здоровый. И питание натуральное. Вы бы поглядели, какой она к нам явилась — кожа да кости.

Мы оба любовались ею.

— Лучше за стол садитесь, чем глазеть, — предложила Маша. Наше внимание было ей неприятно. — А вы, Николай, причешитесь. Причесаться-то забыли.

Когда я вновь вернулся в комнату, Маша спросила Сергея Ивановича:

— Пойдете?

— Позавтракаем и пойдем.

— Я вам с собой соберу.

— Добро. Ты не волнуйся, мы быстро обернемся.

За завтраком лесник стал серьезнее, надолго задумался. Маша тоже молчала. Потом лесник вздохнул, поглядел на меня, держа в руке чашку, сказал:

— Все думаю, с чего начать.

— Не все ли равно, с чего?

— Ты, Николай, подумай. Может, откажешься? А то пожалеешь.

— Вы меня как будто на медведя зовете.

— Говорю: хуже будет. Такое увидишь, чего никто на свете не видал.

— Я готов.

— Ох и молодой ты еще! Ну ладно, кончай, по дороге доскажу. — Он снял с крюка ружье, заложил за голенище сапога широкий нож. Маша хлопотала, собирая нас в дорогу. Мне собирать было нечего.

— Я Николаю резиновые сапоги дам, — предложила Маша.

— Не мельтеши, — сказал Сергей Иванович добродушно. — Там сейчас сухо. Ботинки у тебя крепкие?

— Нормальные ботинки. Вчера не промок.

Маша передала леснику небольшой рюкзак.

— А это анальгин. У Агаш опять зубы болят. Забыли небось?

— Забыл, — признался лесник, укладывая в карман хрустящую целлофановую полоску с таблетками.

— Может, Николаю остаться все-таки?

Я вдруг понял, что говорила она обо мне не как о чужом.

— Далеко не поведу. До деревни и обратно.

— Я вам там пряников положила. Городских.

— Ну, счастливо оставаться.

— Что-то у меня сегодня сердце не на месте.

— Без слез, — сказал лесник, присаживаясь перед дорогой. — Только без слез. Ужасно твоих слез не выношу. Откуда они только в тебе берутся?

Маша постаралась улыбнуться, рот скривился по-детски, и она слизнула скатившуюся по щеке слезу.

— Ну вот. — Лесник встал. — Всегда так. Пошли, Коля.

Маша вышла за нами к воротам. И, когда я встретился с ней взглядом, мне тоже досталась частица сердечного расставания.

У первых деревьев лесник остановился и поднял руку. Маша не шелохнулась. Мы углубились в лес, и дом пропал из виду.

Несколько минут мы прошли в молчании, потом я спросил:

— Далеко идти?

— Километра два... Жалею я ее. Люблю и жалею. Ей в город надо, учиться.

— А сколько Маше лет?

— День в день не скажу. Но примерно получается, что двадцать три.

— Но вы еще не старый.

— Куда уж. Пятьдесят шестой в апреле пошел. Хочу в Ярославль ее отправить. У меня там сестра двоюродная.

Мы свернули на малохоженую тропинку. Лесник шел впереди, раздвигая ветки орешника. Солнце еще не высушило вчерашний дождь, и с листвы слетали холодные капли.

Он сказал:

— Такое дело, что трудно начать. Если бы мы в городе заговорили, ты бы не поверил.

Мы перешли светлую, жужжащую пчелами душистую лужайку. Дальше лес пошел темный, еловый.

— Меня давно это мучает. Я, как увидел, что ты под дождем обратно идешь, потому что Машу пожалел, я и решил, что расскажу.

— Давайте я рюкзак понесу. А то иду пустой, а у вас и ружье, и груз.

— Ничего. Своя ноша не тянет.

Лес поредел. Стали попадаться упавшие деревья. Мы вышли на прогалину. Кто-то повалил на ней лес, но вывозить не стал.

— Не удивляет? — спросил лесник.

— Это ураган был? Но лес-то вокруг стоит!

— Ураганом так не повалит.

В центре лесосеки обнаружился небольшой бугор, заплетенный полу сгнившими корнями. Пробираться к нему пришлось, перепрыгивая с кочки на кочку через черные непрозрачные лужи. Низина, на которой лес был повален, заболотилась. Кочки поросли длинным теплым мхом, и нога проваливалась в него по колено. Я старался ступать в след леснику, но раз промахнулся, и в ботинок хлынула ледяная вода.

— Ну вот, — сказал лесник укоризненно. — Надо было нам с тобой Машу послушаться, сапоги надеть.

Мы выбрались на бугор. Земля на нем была голой, покрытой сероватым налетом — то ли пылью, то ли лишайником, скрывающим крупные сучья и корни. Лесник разбросал груду валежника, и за ней под навесом переплетенных ветвей обнаружился черный лаз.

— Это я шалаш такой поставил, — пояснил Сергей Иванович. — Лапник натаскал. Высохло — не отличишь. Теперь отдыхай.

— Я не устал.

— А я не говорю, что устал. Потом устанем.

Он зарядил ружье, подобрал лямки рюкзака, чтобы не мешал.

— Там зверь есть, — сказал он. — Некул. Слыхал о таком?

Лесник нырнул в черный лаз, зашуршал ветками, сверху посыпались рыжие иглы.

— Ты здесь, Николай? — услышал я его голос. — Иди за мной. Темноты не бойся. А как схватит тебя, тоже не робей. Зажмурься. Слышишь?

Я пригнулся и пошел за ним, выставив вперед руку, чтобы ветки не попали в глаза. Впереди была кромешная тьма.

— Сергей Иванович! — окликнул я.

Его не было.

Тьма впереди была безмолвной и бездонной. Она не принадлежала к этому лесу, она была первобытна, бесконечна, и я не смог бы сравнить ее, например, с входом в глубокую шахту, хотя бы потому, что шахта или трещина в горе обещают конечность падения — брось камень и когда-нибудь услышишь стук или плеск воды. А здесь я, даже ничего не видя, знал, что темнота беспредельна.

И я не мог решиться сделать шаг. Я понимал, что лесник уже там. Что он ждет меня. Может быть, посмеивается над моим страхом. Где был лесник?.. Я в тот момент об этом не думал, но в то же время понимал, что это не просто пещера, что лесник не прятался в темноте, а был там, за черной завесой... Бред какой-то! Вот сейчас, вот-вот он вернется, спросит с насмешкой: «Ну чего же ты, Николай?» И я сделал шаг вперед.

И в то же мгновение земля исчезла из-под ног, я оторвался от нее и перестал существовать, потому что темнота не только сомкнулась вокруг меня, но и превратила меня в часть себя, растворила и понесла со стремительностью, которую можно ощутить, но невозможно объяснить или просчитать. В таких случаях старые добротные романисты писали нечто вроде: «Мое перо отказывается запечатлеть...»

Все это продолжалось мгновение, хотя отлично могло продолжаться год, а если бы кто-нибудь сказал мне, что меня несло сквозь темноту три с чем-то часа, я тоже поверил бы.

Но очнулся я в том же шалаше — с той лишь разницей, что впереди был свет и на его фоне я увидел силуэт Сергея Ивановича — он пригнулся, стараясь разглядеть меня.

— Прибыл? — спросил он. — А я уж собирался идти за тобой.

Он протянул мне руку. Я выбрался наружу. Густой кустарник подходил почти к самому шалашу. Сергей Иванович отошел на несколько шагов, поставил ружье между ног, достал папиросы, протянул мне, закурил, сплющив мундштук крест-накрест.

— Обернись, — сказал он.

Я не сразу понял, в чем дело. Мы подходили к шалашу по заболоченной лесосеке. А здесь за шалашом начинались густые, колючие, скрюченные, почти без листьев кусты. И ни одного поваленного дерева, ни кочки, ни мха, ни воды — никакого болота.

— Не понимаешь? Я в первый раз тоже не понял, — кивнул лесник. — Шалаш я потом соорудил. А тогда, в первый раз, прямо в дыру шагнул... И провалился.

За спиной лесника стояла сосна. Не сосна — старое, раздвоенное, подобно лире, дерево со стволом сосны, но вместо игл на ветках мелкие узкие листья. На коре была глубокая зарубка, затекшая желтой смолой.

— Это чтобы дорогу обратно найти, — пояснил Сергей Иванович. — Такого второго дерева поблизости нету. Вход в шалаш видишь?

Под сучьями и пожухлой листвой чернело пятно входа.

Сергей Иванович подобрал разбросанные у шалаша ветки, свалил беспорядочной грудой, маскируя вход. Потом взял ружье на руку, дулом к земле.

— Я в войну снайпером был, — сообщил он неожиданно.

Было не жарко, но ветер казался сухим, и листва на кустах и редких деревьях была покрыта пылью. В ботинке у меня еще хлюпало.

— Путь один, — сказал лесник. — Через шалаш. Можешь проверить.

— Как? — На меня навалилась необъяснимая тупость.

— Обойди, — подсказал лесник.

Я обошел шалаш. Он был спрятан в гуще чего-то вроде орешника, приходилось нагибаться или отводить рукой ветви. Жужжал жук, сквозь листву проглядывало блеклое высушенное небо. Я обернулся. Лесник шел за мной, держа ружье на сгибе руки. С задней стороны шалаш тоже был завален сучьями. В щелку между ними я увидел все то же небо.

— Убедился? — спросил Сергей Иванович. — Нет здесь никакого болота. И не было. И ни одной сосны в округе.

— Убедился, — кивнул я.

— Ты здесь со мной, как на экскурсии по выставке. А каково мне было в позапрошлом году? Один я был. Струсил. Побежал обратно, а дыру потерял. Наверное, с полчаса по кустам бродил. А ведь я свой лес как пять пальцев знаю. Вижу, что не тот лес...

Мы снова вышли на открытое место у шалаша. Леснику хотелось, чтобы я понял, каково ему было тогда.

— Я, наверное, тысячу раз тем болотом проходил. Там лисья нора была. — Он показал папиросой в сторону шалаша. — На краю болота. Я всю ихнюю лисью семью в лицо узнавал. А вот на бугор не ходил. Какое-то неприятное место, даже не объясню, почему. И сейчас уже не помню, зачем я в этот бурелом полез. Вижу, чернеется. Как берлога. Но пусто, знаю, что пусто. Никого там нет. Верю своему опыту. И не знаю, давно ли та берлога образовалась. Даже думаю, что не очень давно, иначе бы заметил.

— Слушайте, Сергей Иванович, — перебил я его. — А лес когда был повален?

— Лес? Не знаю, давно. До меня еще.

— А может, здесь падал метеорит? Никто в соседних деревнях не говорил?

— Специально я не спрашивал. Если бы такое событие, люди бы запомнили. Да ты погоди объяснение искать. Сначала я покажу, что и как. Хоть ты и ученый, но все равно не спеши. Дослушай. Значит, сунулся я в дыру, меня подхватило, не пойму, то ли медведь, то ли это смерть в таком виде меня заграбастала... Но жив. Вылезаю — дождь идет. А по ту сторону дождя-то не было... Я, знаешь, что решил? Я решил, что спятил. Голова до сих пор побаливает. Я решил — вот тебе и последствие...

Порыв сухого ветра пронесся по кустам, они словно забормотали, зашептались сухими листьями.

Сергей Иванович бросил папиросу, загасил ее каблуком. Я заметил, что неподалеку есть еще несколько окурков, старых, серых.

— Пойдем, — позвал Сергей Иванович. — По дороге поговорим. Дела у меня здесь. Люди ждут.

Мы прошли краем широкого поля, заросшего высокой незнакомой травой, по которой волнами гулял ветер, и там, где он пригибал траву, она поворачивалась светлой стороной, и эти светлые волны передвигались к кустам, и казалось, что мы идем по берегу настоящего моря.

— Под ноги посматривай, — сказал Сергей Иванович. — Здесь гадов много.

Трава, степь пахли сладко и тяжело, иначе, чем дома. Где же мы?

— Я долго голову ломал, — продолжал Сергей Иванович. — Куда меня угораздило провалиться? В Австралию, что ли?

Последние слова прозвучали вопросом. Сомнение родилось не от невежества, а от избыточного опыта.

— Так и представил себе дырку сквозь весь шарик. Потом передумал.

— Почему?

— Да никакая это не Земля. Для этого даже моих мозгов хватало.

Он обернулся, чтобы посмотреть, как я отнесусь к этим словам.

— Да?

Как на экзамене, когда нужно потянуть время, чтобы заполучить лишнюю минуту и вспомнить злосчастную формулу...

Он не стал ждать ответа:

— Конечно, удивление было, опаска, но чтобы я был потрясен, не скажу. Почему бы?

И в тот же момент ружье взлетело в его руке и дернулось.

Я вздрогнул. Выстрел был короток и негромок — кусты сглотнули эхо. А в кустах затрещали ветки и упало что-то тяжелое.

— Спа-койно, — сказал лесник. Он достал патрон, перезарядил ружье и только потом, приказав мне жестом оставаться на месте, вытащил из-за голенища нож и шагнул в кусты.

Теперь он был другой, вернее — уже третий человек. Первого — неуклюжего, староватого, неловкого — я увидел на рынке, в городе. Второй — маленький, добрый, домовитый — остался в доме, с Машей. А третий оказался сухим, ловким, быстрым и сильным. Этот, третий, стрелял.

— Коля, — позвал лесник из кустов. — Иди-ка сюда. Смотри, кого я свалил.

Подмяв длинные стебли, словно на травяной подушке, лежал большой серый зверь. У него были неправдоподобно длинные ноги, тонкие для массивного мохнатого торса, и вытянутая вперед, как у борзой, но куда более массивная, почти крокодилья, морда с оскаленными желтыми клыками.

— Уже прыгнул, — сказал лесник, упираясь в бок зверю носком сапога. — Повезло нам, что с первого выстрела взяли. Они живучие.

— Вроде волка?

— Говорят, они домашние раньше были, как собаки. Одичали потом, когда пастухов разорили. А теперь некул хуже волка. Человека знают, не любят. На человека охотятся.

Лесник ломал ветки, забрасывал ими некуда.

— Скажу своим. Потом заберут. До ночи никто не тронет. Где-то логово близко. На меня один уже бросался, покрупнее этого. Я промахнулся.

— Они по одному ходят?

— Не бойся. Они только зимой в стаи собираются... Солнце высоко. Поспешим.

Мы шли дальше по кромке кустов.

— Вы кому-нибудь про все это рассказывали?

— Нет.

Мы вышли на тропу. Кустарник остался позади, тропинка тянулась среди редких лиственных деревьев, обогнула неглубокую обширную впадину, заросшую бурьяном. Из листьев выглядывали обгорелые балки.

— Тут раньше жили, — рассказывал Сергей Иванович. — Теперь не живут. Так вот, я ведь человек, можно сказать, обыкновенный. Образования не пришлось получить. Но повидал всякое. Всю войну прошел, награды имею, за рубежом несколько стран повидал. И по-худому жизнь поворачивалась. И по-хорошему. Так что не спеши меня судить. Тебе, может, сейчас кажется: проще простого — увидел в лесу дыру — другой мир, беги, сообщай куда следует, умные люди разберутся. А оказывается, все куда сложнее...

Мы спустились в лощину, по дну которой протекал узкий ручей. Через него было переброшено два бревна.

— Дождей что-то давно не было, — продолжал лесник. Так говорят о засухе у себя дома, в деревне. — Я хотел понять, что к чему. Ведь не в городе живу, там до милиционера добежал — взгляните, гражданин начальник. Вот поеду я в город за тридцать километров, пойду по учреждениям пороги обивать. Не поверят. А насмешек боюсь. Когда осложнения пошли, вообще отложил. Увидишь, почему. Поймешь. Но неуверенность осталась. И мучает. А теперь я на тебя кой-что переложу, ты и решай. Сначала погляди, пойми все, потом решай. Я подозреваю, что не Земля это. Понятно? Чего глядишь, как черт на Богородицу?

— Почему вы так думаете?

— Звезды не такие и сутки короче. На час, да короче. И другие данные есть. Ко мне тогда еще приезжали. Друзья-охотнички. Не столько наохотятся, сколько водки переведут. Один преподаватель там был, из области, я с ним теоретически побеседовал. Я его и так и эдак допрашивал, только чтобы не выдать про дыру. Я ему: «А если бы так, а если бы не так?» А он в ответ: «В твоем алкогольном бреду, Сергей, ты видел параллельный мир. Есть такая теория». Ты, Николай, о параллельных мирах слыхал? Как наука на них смотрит?

— Слыхал. Никак не смотрит.

— Будто это такая же Земля, только на ней все чуть иначе. И таких земель может быть сто... Отойди-ка, милый друг, в сторонку. В кусты. А то испугаешь.

В том месте тропа сливалась с пыльной проселочной дорогой. Я услышал скрип колес. Сергей Иванович вышел на дорогу и свистнул. В ответ кто-то сказал: «Эй». Скрип колес оборвался. Мне ничего не было видно из кустов. Мне показалось даже, что лесник нарочно оставил меня в таком месте, откуда мне ничего не видно.

Как бы еще какой-нибудь некул не догадался, что я здесь, в кустах, безоружный. Лесник и добежать не успеет. Кора дерева была черной, шершавой — я потрогал. Черный жучок с длинными щегольски закрученными усами остановился и стал ощупывать усами мой палец, заградивший дорогу.

Параллельный мир... Почему-то меня занимала не столько сущность этого мира, говорить о котором можно будет лишь потом, когда я его увижу. Я думал о дыре. О двери на болоте. То есть о том феномене, о котором я уже знаю. В чем сущность этого переходника? Короток ли он, как сам шалаш, или бесконечно длинен? От чего это ощущение падения, невероятной скорости? Мгновенный момент перехода или туннель, протянувшийся в пространстве? От природы этой двери зависит и принцип мира, в который мы попали. Если допустить, что это мир параллельный, то о его расположении в пространстве даже не стоит пока гадать. Если же это мир, существующий в нашей, допустим, Галактике, то искривление пространства... Тьфу, никогда не подумал бы, что придется ломать голову над столь невероятным феноменом. Но ведь невероятно все, с чем мы не сталкивались раньше. Я привык к тому, что Земля круглая, а легко ли было поверить в это первым путешественникам, которые не знали о законах Ньютона? Сегодня мы можем снисходительно улыбаться, вспоминая ретроградов, которые уверяли, что антиподы обязательно упадут куда-то, как же иначе им удержаться вниз головой? А так ли он наивен — тот ретроград? Что такое гравитация, что за невидимые цепи держат материальный мир? Хорошо, с цепями мы смирились, а не пройдут ли недолгие годы и не смиримся ли мы также с тем, что можно шагнуть в иной мир, и уже меня, последнего могиканина из ретроградов, будут корить за то, что я пытаюсь выяснить: а где в самом деле находится та земля, в которую мы вступаем сквозь черную дыру?

— Николай, — окликнул с дороги лесник. — Поди сюда.

— Иду.

В туче пыли, уже почти осевшей, но еще скрывавшей колеса, возвышалась арба, запряженная парой маленьких заморенных — торчали ребра — носорогов с потертыми ярмом холками. Туловища у носорогов были необычно поджарые, а ноги были довольно тонкие и очень мохнатые, серая, вроде собачьей, шерсть облезала клочьями. Над носорогами кружились слепни. У арбы стоял мужчина в серой домотканой одежде, мешком спускавшейся до колен. Он был бос. При виде меня он поднял свободную от поводьев руку и приложил к груди. Редкая клочковатая бородка казалась нарисованной неаккуратным ребенком. Зеленые глаза смотрели настороженно.

— Приятель мой, — сообщил лесник. — Зуем звать. Я ему сказал, что ты — мой младший брат. Не обидишься?

Зуй переступил босыми ногами по теплой мягкой пыли. Сказал что-то. Нет, это не испанский язык. Я все еще, с тающей надеждой, цеплялся за мысль о том, что мы на Земле.

— Говорит, что спешить надо. Садись в телегу.

Рюкзак лесника валялся в арбе на грязной соломе. Я сел, подобрав ноги. Зуй протянул руку, пощупал материю на моем пиджаке.

— Труук, — сказал он.

— Да, — согласился я. — Материал хороший.

Лесник ухмыльнулся, усаживаясь рядом.

— Сообразил?

— А чего соображать? Когда человек выражает одобрение, это понятно на любом языке.

— Это точно. На будущее учти, что труук — это такая одежда, ее носят сукры. Так что Зую твой пиджак не понравился. Об этом он и сказал. Ясно? Одобрение на любом языке...

— Ясно.

— А то мы все по себе судим. Так и ошибиться недолго.

— Вы их язык хорошо знаете?

— Откуда мне? Тут способности надо иметь. Но разбираюсь. Понимаю.

Дорога была отвратительная. За телегой поднималось облако пыли, а раз арба двигалась медленно, то налетавший сзади ветер гнал пыль на нас, и тогда лесник и Зуй скрывались в желтом тумане. Мы ехали мимо скудного, кое-как засеянного поля. На горизонте поднимался столб черного дыма.

— Что это? — спросил я, но Зуй с лесником были заняты разговором и не услышали.

Было в этом что-то от четкого, кошмарного сна с преувеличенной точностью деталей — ты понимаешь, что такого быть не может, но стряхнуть наваждение нет сил, и даже возникает любопытство, чем же закончится этот сказочный сюжет. Внизу, поднимаясь из пыли, словно горбы китов, покачивались серые спины носорогов... А может, это все-таки Земля? Нет, никто на нашей планете не запрягает таких тварей в арбу. Лесник говорил, что здесь иные звезды. Но если это звезды южного полушария? Тогда при чем носороги — это же не Африка.

— Зуй говорит, вчера приходили сукры, искали меня, — сказал лесник, разминая папиросу.

— Сукры?

— Здешние стражники.

— Кого и от кого они стерегут?

— Потом расскажу. Ты учти, Николай, — для них я за лесом живу. Будто там другая страна, но вход в нее запрещенный. Про дверь они, конечно, не знают. Не хотел бы я, чтоб кто из сукров к нам забрался. Помнишь, как Маша на рынке испугалась? Подумала сперва, что ты — отсюда. За ней.

— Я не совсем с вами согласен. Если бы вы все-таки настояли на своем, сообщили, можно было бы организовать охрану дыры...

— Погоди. — Лесник закурил. Зуй опасливо поглядел на дым, идущий изо рта. Но ничего не сказал. — Не могут привыкнуть. Я здесь стараюсь не курить, чтобы суеверия не развивать. И так уж черт-те знает чего придумывают. Так вот, ты говоришь: добился бы, поставил охрану. Ну ладно, а что дальше? Мне-то будет от ворот поворот. Простите, Сергей Иванович, с вашей необразованностью и алкогольным прошлым позвольте вам отправиться на заслуженный покой и не суйтесь в наши дела.

— Ну зачем же так?

— А затем. Я бы на месте ученых так же бы рассудил. Этот Сергей Иванович только всю картину портит. Бегает, пугает... А ведь ученые тоже не все понимают. Как ни учись, умнее не станешь.

— Как же так? — Я постарался улыбнуться.

— А так. Образованнее станешь, а умней — никогда.

— Не считаете же вы себя умнее...

— Не знаю. Но мои-то без меня куда? Маша, Зуй, другие? Они же надеются. Если в соседний дом вор залез, с ружьем, что будет умнее — бежать спасать или подумать: «А вдруг он меня из ружья пристрелит?»

— Вряд ли это аргумент. Соседний дом живет по тем же законам и обычаям, что и вы. А представьте, что в другой стране этот вор...

— Ну придумай! Придумай такую страну, чтобы от вора была польза!..

— Придумать можно, — не сдавался я. — Допустим, в соседнем доме живут люди, больные чумой, а не хотят уезжать в карантин. Вот и приходится их с оружием в руках вывозить, чтобы остальных спасти. Понимаете, я привел первый попавшийся довод...

— Ну что ж, я глупый, что ли?

— А представьте, что вы в ту деревню приехали вчера, не знаете ни про болезнь, ни про врачей и видите только внешнюю сторону событий.

— Знаю! Знаю же! — озлился лесник. — Чума?.. Скажешь тоже. Сам погляди сначала, а потом оправдывай. Так и Гитлера оправдать можно. Видишь ли, его нации места было мало, а у других свободная земля — вот и надо отобрать, да еще и людей извести... Ладно, не будем спорить. — Лесник выбросил в пыль папиросу. — Не будем спорить. Я тебя для того и позвал, чтобы ты поглядел, чума здесь или простой грабеж. А если со мной что случится, то дыру сам отыщешь. И смотри, чтоб тебя сукры не выследили.

Арба подпрыгивала на неровностях дороги, пыль скрипела на зубах, в кустарнике у дороги шевелилось что-то большое и темное, кусты трещали и раскачивались, но ни лесник, ни Зуй не обращали на это внимания.

— Что там? — спросил я.

— Не знаю, — признался лесник. — Иногда бывает такое шевеление. Я как-то хотел поглядеть, но они не пустили. Нельзя близко подходить. А если не подходить, то неопасно.

— Неужели вам не захотелось выяснить?

— Если все выяснять, жизни не хватит. Тебе в соседнем городе не все ясно, а здесь...

— Кстати, вам не приходило в голову измерить длину хода в шалаше?

— А я думаю, что длины никакой нет. Как занавеска.

— А вам не казалось, что вы падаете?

— Казалось.

— И что это падение продолжается долго?

— А вот это — чистый обман. К примеру, я тебя ждал. Ты от меня не больше чем на минуту отстал. Если бы больше, я бы тебя искать пошел. Так что это падение — одна видимость. Но я тебе другое скажу — хочешь верь, хочешь нет: если с другой стороны к дыре подойти, то ее вовсе нету.

— Как так?

— Ты с другой стороны сквозь это место можешь пройти и ничего не заметишь. Вот как.

У дороги стояло одинокое дерево. Под толстым горизонтальным суком, на котором были развешаны белые, голубые тряпочки и веревки, сидел почти голый старик. Свалявшиеся волосы доставали до земли, страшно худые ноги были подобраны к животу. Старик раскачивался и подвывал.

— Кто это? — спросил я.

— Таких здесь много. Отпустили его сукры, а деваться некуда, деревни нет, все померли. А может, бегал, скрывался. Всю жизнь бегал. Дерево это у них святое, трогать старика нельзя. Если только некул разорвет. Только некулы редко к дороге выходят. А старику кто лепешку кинет, кто воды поставит. Тем и живет. И будто бы духи здешние его охраняют. Чепуха это все, от дикости.

Зуй кинул что-то старику, морщинистые руки дернулись, как паучьи лапы, подхватили подачку.

— А откуда Зуй знал, что мы придем?

— Я на той неделе здесь был. Без предупреждения лучше в деревню не соваться. Сукра можно встретить. Меня они не любят.

— И многие знают о вас?

— Как же не знать? Я фигура заметная.

Мы догнали стадо. Четыре однорогие — ну, что ли, коровенки — плелись по пыли, окруженные кучкой тамошних, наверное, овец. Голый мальчишка бегал, стегал этих коровенок и овец по бокам, чтобы не мешали нам проехать. Вдруг мальчишка замер, увидев меня.

— Курдин сын, — пояснил лесник. Вытащил из верхнего кармана гимнастерки кусок сахара и кинул его мальчишке.

Кусок сахара сразу перекочевал за щеку пастуха.

— Учиться бы ему, — вздохнул лесник. — Все думал — может, его к нам взять, в школу, детей у нас нет. А?

— Вы бы, наверное, не только его взяли, — сказал я.

— И не говори. Может, возьму еще...

Дорогу пересекал забор из жердей. Зуй спрыгнул с арбы, передав вожжи леснику, и оттащил несколько жердей в сторону, чтобы освободить проезд. Ставить их на место не стал, за нами шло стадо. Арба перевалила пригорок, и впереди появилась деревня.

Хижины стояли вкруг, обнесенные тыном, окруженные широким, но, видно, мелким заросшим ряской рвом. Через ров вел бревенчатый мостик. Ворота в тыне, когда-то прочные, мощные, были полуоткрыты, накренились, уперлись в землю углами, и закрыть их было бы нельзя.

— Эй! — крикнул Зуй, придерживая носорогов у мостика.

Никто не откликнулся. Деревня словно вымерла. Носороги замешкались перед мостиком. Зуй хлестнул их кнутом. Носороги дернули арбу, она вкатилась на мост, бревна зашатались, словно собирались раскатиться.

Мы выехали на пыльную утоптанную площадь, на которую со всех сторон глядели, распахнув черные рты дверей, голодные, неухоженные хижины, словно птенцы в гнезде, отчаявшиеся дождаться кормилицу. С тына и соломенных, конусами, крыш взлетели вороны или что-то вроде них. Взлетели и принялись кружить над нами и сухим корявым деревом, возле которого мы остановились.

Я знал эту деревню. Она пригрезилась мне на пляже, только я видел ее тогда сверху. И дерево видел.

И человека, повешенного на толстом длинном суку.

Порыв горячего, сухого ветра качнул тело, и оно легко, словно маятник, полетело в нашу сторону. У меня схватило сердце.

Лесник, соскакивая с арбы, подставил руку, и я понял, что это не человек — кукла в человеческий рост, чучело с грубо намалеванным на белой тряпке лицом — два пятна глаз, полоска рта и вертикально к ней — полоса носа. Так рисуют дети.

— Ну и ну, — сказал я, последовав за Сергеем.

Куклу трудно было принять за человека. Виноват был мой сон — в нем я был уверен, что вижу человека. Поэтому теперь, наяву, смотрел на чучело, а видел человека.

— Это я, — пояснил лесник. — Это меня повесили. Так сказать, заочно, на устрашение врагам.

— Кто повесил?

— Стражники. Давно повесили, весной еще.

Зуй привязал вожжи к стволу, под ногами куклы. Лесник снял с арбы рюкзак.

— Очень мною недовольны, — продолжал лесник не без гордости. — Но поймать не могут. Вот и пришлось куклу сооружать. Наглядная агитация.

— А почему здесь пусто? — спросил я.

— А кому здесь быть? Какие бабы остались и старики — в поле. Мужики — кто скрывается, кто в горе. Сам понимаешь...

Ничего я не понимал.

Лесник закинул ружье за плечи и пошел к одному из домов. Я последовал за ним в раскрытую дверь и окунулся в тяжелый, затхлый воздух. Там было темно, лишь через дыру в крыше падал свет, и глаза не сразу привыкли к полумраку. Лесник опустил рюкзак на землю.

— День добрый, — поздоровался он.

Ответа не было. Кто-то тяжело дышал в углу. Под стрехой завозилась какая-то птица, и оттуда ко мне спланировало знакомое розовое перышко.

— Как дела? — спросил в темноту лесник.

— Добри ден, Серге, — произнес глубокий, знакомый мне, чистый голос. — Как ехал?

Глаза начали привыкать. Лесник поставил ружье в угол, прошел в дальний конец хижины и наклонился над кучей тряпья.

— Хорошо доехал, — сказал он. — Я с братом приехал. Как живешь, Агаш-пато?

— Живу, — ответил тот же голос. — Где брат?

— Иди сюда, Николай, — позвал лесник. — С теткой познакомься.

В куче тряпья, прикрытая до пояса, лежала старуха в темной рубахе. Седые волосы гладко зачесаны, лицо гладкое, почти без морщин. Тетя Агаш была как две капли воды похожа на мою тетю Алену. Только без очков. Она должна была сейчас улыбнуться и спросить с неистребимой иронией школьной учительницы, знающей, что я не выучил урок: «Все-таки надеешься решить эту задачку?»

— Подойди ближе, — позвала старуха. Она протянула ко мне тонкую сухую руку. Мизинец и безымянный палец были отрублены. Она смотрела на меня в упор. Пальцы дотронулись до моего лица. Они были прохладными.

— Она не видит, — объяснил лесник.

— Твое лицо мне знакомо, — сказала тетя Агаш. — У меня был племянник с твоим лицом. Он взял меч. Его убили. Он был умный.

— Я зажгу свечу, — предложил лесник. — Здесь темно у тебя.

— Ты знаешь, где свечи. Как живет моя Луш?

Я обернулся к леснику. Лесник зажигал свечу.

— Луш передает тебе привет и подарки, — вспомнил он.

— Спасибо. Мне ничего не надо. Зуй меня кормит. И Курдин сын помнит закон.

Вошел Зуй. Он с грохотом ссыпал у глиняного очага посреди хижины охапку дров.

— Будете пить, — продолжала тетя Агаш. — Устали. У меня нет ног, — добавила она, повернув ко мне лицо. — Зуй сделает.

— Агаш по-русски почти как мы с тобой говорит, — сказал лесник. — Один раз слово услышит и уже помнит. Ты ихнего настоя много не пей. Полчашки — и хватит с непривычки. Но бодрость дает.

— Значит, все, что я видел, это отсюда?

— Отсюда. Что обыкновенное, я Маше не запрещаю. Она все хочет для своих чего-нибудь послать. И для меня. С деньгами у нас не богато. Вот и приходится. Но яйцами я не велел торговать. Строго запретил. Из них купу делают — такое лекарство. Но ты же Машу знаешь, своенравная.

— Что сделала Луш? — спросила тетя Агаш.

— Своенравная она.

— Она хорошая.

— А кто спорит?

В очаге трещали сучья, и на лицо тети Агаш падали отсветы пламени.

Агаш протянула руку за нары, на которых сидела, и достала оттуда две эмалированные кружки. Кружки были наши, обыкновенные. Сергей Иванович сказал:

— Мы сюда много принести не можем. Опасаемся.

— Да, — согласилась тетя Агаш. — Нам опасно богатство. Чашки чистые. Курдин сын мыл в воде. Серге боится синей лихорадки. Много людей умерло от синей лихорадки.

— Не за себя боюсь, — сказал лесник. — К нам туда боюсь инфекцию занести.

— Сейчас нет лихорадки, — возразила Агаш. — В нашем роду никто не умер. Серге принес круглые камни.

Я не понял, обернулся к леснику.

— Таблетки принес, — пояснил Сергей. — Отправился, понимаешь, в аптеку. Знания у меня в масштабе журнала «Здоровье» — я выписываю. Аспирин взял, тетрациклину немножко, этазол. С антибиотиками осторожность проявлял, чтобы побочных эффектов не было. Каждую таблетку пополам ломал. Ничего, обошлось.

— Ну, знаете, — взвился я. — Прямо удивляюсь порой. Вы же взрослый человек. Могли повредить. Организмы...

— Я не мог глядеть, как люди помирают, — отрезал лесник.

— Но если бы...

— Если бы да кабы, — передразнил меня лесник.

В его поступках была определенная логика, но во многом она была для меня неприемлема.

Я взял кружку с настоем. Настой был теплым, пряным. На дне кружки лежали темные ягодки.

— Пей, не спеши, — кивнул лесник. — Я тут человека жду.

Словно услышав его, в хижину вошел человек.

Агаш сказала что-то строгим голосом тети Алены.

— Сердится, что без предупреждения пришел, — пояснил лесник. — А чего сердиться? Кривой всегда так. Конспиратор.

Высокий одноглазый мужчина в коротком черном балахоне, подпоясанном ремнем, на котором висел короткий меч, поклонился Агаш. Лесник поднялся и, прижав руку к сердцу, подошел к пришедшему. Кривой заговорил быстро, швыряя словами в лесника. Все замерли.

— Хорошо, — произнес лесник по-русски.

— Хорошо, — повторил Зуй.

— Мой брат останется здесь. — Лесник подтянул ремень гимнастерки.

— Хорошо, — согласилась тетя Агаш.

Все они смотрели на меня. Я был обузой, помехой.

— Вы надолго? — спросил я. Первой реакцией было не согласиться: если все идут, значит, и я иду. И в ту же минуту я понял, что надо слушаться Сергея Ивановича, как слушаются проводника в горах. Только неясно, сам-то он знает дорогу?

— Наверное, ненадолго, — сказал лесник. — Если что, сам найдешь, куда идти? Дорогу не забыл?

— Может, все-таки с вами?

— Если нужно, сказал бы. По незнанию еще чего натворишь. Ты останешься, порасспроси тетку. Ружье тебе оставляю. С ружьем мне нельзя.

— Почему?

— А если оно им в лапы попадет? У меня и так на совести всего достаточно.

Кривой вышел. Лесник положил мне руку на плечо, словно хотел еще что-то сказать, но не сказал.

— Дай мне кружку, Серге, — попросила тетя Агаш. — Я допью.

Я передал ей теплую кружку. Заглянул в свою. Никакой бодрости не пришло, и я сделал еще два или три глотка и спросил Агаш:

— Можно я выйду, погляжу вокруг?

— Не ходи далеко, — сказала слепая. — Тебя нельзя видеть.

Я вышел на свежий воздух. Повозка уже переехала мостик и удалялась по дороге, окутанная пылью. Кривой ехал сзади на невысокой лошадке, так что его ноги болтались над самой землей. (Лошадка — пусть будет так.) Ветер раскачивал куклу. Полоска рта улыбалась. Я заглянул в соседнюю хижину. В ней было прохладно, стоял запах пыльного сена. Одно из бревен крыши когда-то рухнуло вниз, и сейчас казалось, что полоса света со взвешенными в ней пылинками соединяет крышу и пол, усеянный черепками и щепками. Деревня была полна звуков, рожденных ветром: скрипели жерди и доски, кричали вороны, шелестел сор в узкой щели между домами. Но звуки эти были пустыми, нежилыми.

Да, это тебе не Южная Америка. И не Индия... и не Австралия. Параллельный мир? Я представил себе, как заезжий охотник, разморенный теплом и обедом с водкой, снисходительно растолковывает леснику где-то, как-то слышанную или вычитанную идею о параллельных мирах, а слушатель примеривает ее: сходится, не сходится... Ждал-то он, конечно, чего-то более четкого, приемлемого. С таким же успехом он мог бы тогда обратиться и ко мне.

В трещине пола росли грибы. На длинных белых ножках, со шляпками-колпачками, хилые и скучные. Будь я ботаник, хотя бы разбирайся в наших грибах, смог бы сказать, такие же они или иные. А так... Я сорвал один из грибов, он раскачивался в пальцах... А какие, кстати, грибы в Южной Америке?

Я даже улыбнулся. Меня забавляла косность собственного мышления. Никакой Южной Америкой здесь и не пахло, а ведь я продолжал цепляться за какое-нибудь объяснение, которое можно было бы втиснуть в пределы понятного.

На площади было пустынно. Ворона сидела на голове повешенной куклы, держа в клюве маленькое зеленое яблоко. Я вернулся к тете Агаш.

— Это ты, младший брат? — спросила она.

— Далеко они поехали?

— В лес. К людям.

— Я ничего не знаю.

— А что можно о нас знать? Зачем хорошо живущим знать о тех, кто живет плохо?

— А мой брат?

— Твой брат — большой человек.

— Он знает?

— Он знает. Но иногда он как ребенок. Он хочет хорошо, а не понимает, что потом будет плохо. Не понимает самых простых вещей. Тебе ясно, мальчик?

— Может быть. А как он к вам пришел?

— Он не сказал тебе?

— Я был далеко. Я вчера к нему приехал. Он не успел, потому что спешил сюда.

— Это было давно, — сказала тетя Агаш. Очаг догорал и дымил. — Два лета назад Серге пришел к нам в деревню. Тогда деревня была живая. В ней жило много мужчин. Мой брат был в лесу. На него напал некул. Ты знаешь некуда?

— Я видел.

— Серге убил некуда и замотал рану брата своей рубахой. На Серге была белая рубаха. Она стоит столько, сколько вся наша деревня. А он ее разорвал. Мой брат долго болел. Он сказал Серге: «Моя жизнь — твоя жизнь». Ты понимаешь?

— Понимаю.

— Мой род взял Серге. Но сукры могли узнать. Нельзя брать в род чужого. Серге не хотел жить у нас. Он уходил. Так было три раза. Никто не говорил сукру про Серге. Все боялись закона сукра. Закон сукра нарушил — смерть. Но закон рода нарушил — тоже смерть. Ты понимаешь?

— Понимаю.

— В тот год была лихорадка. Много людей умерло, а много бежало в лес. Когда пришли сукры, не было мужчин, чтобы сторожить ворота. Сукрам нужны были новые люди. Я была в деревне, когда они пришли. Они не должны были приходить. Наша деревня дает сукрам зерно и вещи. Мой сын погиб. Мой брат убит на пороге дома. Меня бросили умирать, кому нужна старуха? И когда пришел Серге и принес лекарство, то мало было людей, чтобы есть лекарство. И я сказала Серге: твой брат, мой брат мертв. Ты мой брат. Ты возьми его дочь Луш, и она будет твоя жена. Ты найди сукра, который убил брата, и убей сукра. И все, кто слышал, сказали: «Это нельзя, это запрещает закон. Нас всех убьют». И Серге сказал: «Законы придумали люди. И они их меняют».

— И он убивал?

Мне хотелось, чтобы старуха ответила «нет». Сергей не имел права судить и казнить. Даже если ему казалось, что это право дает ему справедливость.

— Он сказал: «Если я убью сукра, придет другой сукр. Только все вместе люди могут прогнать их».

— Правильно, — выдохнул я. — Это ничего не решает.

— А мы ждем, — закончила старуха. — И нас все меньше. А сукры все сильнее.

Где-то далеко, за пределами деревни, возник низкий протяжный звук, словно кто-то натянул и отпустил струну контрабаса. Агаш осеклась, невидящие глаза смотрели туда, откуда пришел звук. Пальцы, раздутые в суставах, вцепились в тряпку, прикрывавшую колени.

— Что это? — спросил я.

— Трубы, — сказала старуха. — Еще далеко.

— Идут сюда? — не отставал я.

— Смерть сторожит людей. Ты уходи. Серге сказал, чтобы ты уходил.

— А где Сергей? Где я найду его?

— Серге в лесу. Они ищут Серге. Уходи. Ты такой же, как он. Я была больна от горя. Я сказала Серге, что он должен убить сукра. А Серге сказал тем, кто оставался живой: почему вы даете себя резать, как свиней? Лучше бы он не приходил. Уже нет мужчин в нашем роду, уже нет деревни, и сукры убьют последних за то, что деревня дала приют Серге. Нельзя спорить с судьбой...

Звук контрабаса донесся снова. Чуть ближе. Или мне показалось, что ближе?

— Агаш-пато! Агаш-пато!

Вбежал, запыхавшись, мальчишка-пастух. Он размахивал сведенными в кулаки руками, помогая себе говорить. Старуха слушала, не перебивая. Потом протянула руку. Мальчишка разжал кулак. Там был комочек бумаги. Я расправил его. На листке, вырванном из записной книжки, было крупно, косо написано: «Николай, быстро уходи. Не вернусь, позаботься о Маше. Я у нее один. Это приказ».

Записка была без подписи.

— Ты уходишь? — спросила Агаш.

Я посмотрел на часы. Чуть больше часа прошло с тех пор, как лесник ушел с мужчинами. Я знал, что не послушаюсь его. Я не мог вернуться один.

— Уходи быстро, — настаивала Агаш. — Курдин сын выведет тебя.

— А вы?

Она показала на черную щель позади нар:

— Я спрячусь в яме.

— Мальчик может провести меня к Сергею?

— Нельзя.

— Почему? — Я взял ружье лесника.

— Он не велел. Он знает лучше. Ты чужой.

— Я пойду к Сергею, — сказал я. — Он мой брат.

Старуха молчала.

— Тогда я пойду один.

Мальчик топтался у входа, будто хотел убежать, но не смел.

Старуха повернулась к нему, заговорила. Он ковырял ногтем притолоку.

— Иди к Серге, — согласилась старуха. — Ты мужчина. Мальчика от леса пришли обратно. Я не хочу, чтобы его убили. Он спрячется со стадом.

— Спасибо, тетя Агаш, — кивнул я.

Мальчишка бежал впереди, иногда оборачивался, чтобы убедиться, что я не отстал. Страшно худые, раздутые в коленях ноги мелькали в пыли, волосы стегали пастуха по плечам.

Мы выбрались через заднюю стену одной из хижин и сквозь дыру в тыне. Дорога вела вниз, с холма, к пересохшему ручью и снова вверх к голым вершинам скал, торчавшим из далекого леса. Стало жарко. Пот стекал по спине, и ружье казалось тяжелым и горячим. Пыль оседала на мокром от пота лице и попадала в глаза.

Снова донесся звук трубы, утробный и зловещий. Так близко, словно кто-то невидимый стоял прямо за спиной. Мальчишка пригнулся и бросился к лесу, петляя, как заяц. Вторая труба откликнулась слева. Я побежал за пастухом. Лес приближался медленно, мальчишка далеко опередил меня.

Спереди, оттуда, куда бежал пастух, послышался крик. Я приостановился, но шум в ушах и стук сердца мешали слушать. Кто кричал? Свои? Я был здесь от силы три часа, но уже делил этот мир на своих и чужих.

Когда я добрался до леса, мальчишки нигде не было. И тогда мне стало страшно. Страх был рожден одиночеством. Я поймал себя на том, что стараюсь вспомнить путь назад, к раздвоенной сосне, к двери на болоте, к действительности, где ходят автобусы и тетя Алена то и дело выглядывает в окно, беспокоясь, куда я запропастился. Но что может мне грозить? Что я заблужусь в лесу? Опоздаю на автобус? А мне грозила смерть... Но мысль о тете Алене вызвала мысль об Агаш. Вот она, тетя Агаш, прислушивается в пустой хижине к гуду трубы, дожидаясь, когда в деревне раздадутся тяжелые шаги врагов, которых я еще не видел, потом сползает с нар и ощупью ищет ход в душную темную нору...

Я выпрямился и пошел по лесу. Я не здешний. Со мной ничего не должно случиться. Надо найти мальчишку. Ему страшнее.

Стрела свистнула над ухом. Сначала я не понял, что это стрела. В меня еще никогда не стреляли из лука. Стрела вонзилась в ствол дерева, и перо на конце ее задрожало. Я бросился в чащу, и еще одна стрела чиркнула черной ниткой перед глазами.

Кусты стегали по лицу, ружье мешало бежать, кто-то громко топал сзади, ломая сучья. Земля пошла под уклон, и я не успел понять, что уклон этот обрывается вниз.

Я не выпустил из рук ружья и, катясь по висящим над обрывом кустам, ударяясь о торчащие корни, старался ухватиться, удержаться свободной рукой. Больно стукнулся обо что-то лбом и рассек щеку. Мне казалось, что я падаю вечно. Может быть, я на какое-то мгновение потерял сознание.

Потом была боль. Острый сук вонзился в спину, не давая дышать. Я попытался подняться, но сук, прорвав пиджак, держал крепко. Саднило лицо. Я замер. Я понял, что произвожу слишком много шума. Они могут найти меня. Я старался дышать тише, медленней. Я оперся о ружье и резко приподнялся. Сук треснул и отпустил меня. Я довольно далеко откатился от обрыва, и примятая трава и кусты, лениво распрямлявшиеся на глазах, указывали мой скорбный путь. Наверху, близко раздались голоса. Я замер. Преследователи спорили о чем-то. Потом замолчали. Спускаются вниз?

Что-то большое, темное зашевелилось в кустах неподалеку. Кусты начали раскачиваться, будто под ветром. Резко окликнул кого-то голос сверху.

И я понял, что они не будут спускаться, потому что к шевелящимся кустам подходить нельзя. Темная масса проглядывала сквозь листья кустов, она была совсем рядом, но она не должна была меня тронуть, угрожать мне. Ведь я здесь чужой? Мне все только снится?

Постепенно движение в кустах утихомирилось, словно тот, кто шевелился там, улегся спать.

На случай, если они стоят сверху, слушают, не выдам ли я себя шорохом, я просчитал до тысячи. Потом еще до тысячи. Может быть, местные жители — великие мастера брать измором крупную дичь, но если бы они стали спускаться, я бы услышал.

Я осторожно сел и ощупал ноющую ногу. На икре штанина была разодрана, дотронуться было больно. Я потянул ногу к себе — она повиновалась. Я поднялся. Отсюда был виден обрыв. Он оказался невысоким — высок он только для того, кто с него падает. На обрыве никого не было. Я заглянул в ствол ружья — не набился ли туда песок. Чисто. Пиджак я оставил под кустом — он разорвался на спине и своих функций более исполнять не мог.

Я решил отыскать дорогу. Она должна была идти через лес, ведь лесник со спутниками отправились туда на повозке. Несколько метров я прошел вниз по оврагу. Там я наткнулся на маленький родник, выбивавшийся из склона и стекавший в бочажок, обложенный галькой. В бочажке кружили мальки. Я напился ледяной воды — заломило зубы. Вспомнил, мне давно надо пойти к зубному, — мысль была естественной, но нелепой. Я промыл, морщась от шипучей боли, ссадины на ноге и на щеке, подхватил ружье и вскарабкался по склону оврага.

Я шел осторожно, прислушивался к шорохам и отыскал дорогу неподалеку от того места, где она входила в лес. Дорога была исчерчена следами повозок и человеческих ног. Лес был слишком тих, молчали птицы, и я пошел в глубь леса по кромке дороги так, чтобы при первой опасности нырнуть в кусты. Вскоре от дороги отделилась широкая тропа. Именно туда сворачивали следы — в одном месте колесо повозки раздавило оранжевую шляпку гриба.

Этот мир был жесток и несправедлив к слабым. И жестокость его обнажена, узаконена и привычна. И что удивительного, неправильного в том, что, попав сюда, лесник принял сторону слабых? И враги его деревни стали его врагами. Не от желания покуражиться или проявить доблесть, а от базисных, неотъемлемых черт его характера он стал заниматься их делами, доставать таблетки тетрациклина, воевать с какими-то сукрами, убивать злобных некулов и привозить с земли чайные кружки, не говоря уж о множестве дел, о которых я не поставлен в известность.

Но насколько объективно разумна его деятельность? Не схож ли он с человеком, разрушающим муравейник ради спасения гусениц, попавших муравьям в лапы? Что может он сделать здесь, и нужен ли он?.. В заочном споре с Сергеем я старался удержаться от эмоций и остаться ученым — значит, в первую очередь, наблюдателем, старающимся сначала отыскать цепочки причин и следствий, докопаться до механизма, движущего явления, и лишь затем принимать решения.

Когда впереди обнаружился просвет, я замедлил шаги, потом совсем остановился. На поляне еще недавно был лагерь. Остовы шалашей были ободраны, ветки и сучья разбросаны по траве. В истоптанной траве лежал убитый крестьянин, босой, в мешке вместо рубахи. Борода торчала к небу. В кулаке был зажат обломок кинжала.

Скрываясь за стволами, я пошел вокруг поляны. В подлеске наткнулся на знакомую повозку. Носороги исчезли, оглобля вонзилась в землю. Небольшая птица пролетела через поляну. Она не видела опасности.

Я подошел к убитому. Несколько стрел валялось на траве. Я поднял одну. Ее наконечник был зазубрен.

Дорога пересекала поляну и шла дальше, через лес.

Вчера я шел по лесу. Сегодня снова иду по лесу. И эти два леса разделены либо невероятным пространством, либо временем, либо и тем, и другим. Путь был долгим, одиноким и нереальным, и я не раз задавал себе вопросы, на которые невозможно ответить: что я здесь делаю? Как попал сюда? Что за сила притянула друг к другу два мира и в той точке, где они соприкоснулись, создала туннель? Попробуем построить мысленную модель этого явления на основе знакомого нам феномена: представим себе СЭП — суммарную энергию планеты... Модель строилась плохо — я не мог пришпилить планету в точке пространства, ибо искривление его должно было быть невероятно сложным, какого не бывает и быть не может. Не может, но существует. А что если обратиться к чисто теоретической, умозрительной модели почти замкнутого мира? Еще Фридман в двадцатые годы исследовал космологические проблемы в свете общей теории относительности. Отсюда придуманный Марковым «фридмон» — частица размером с элементарную, но могущая вместить в себя галактику — только проникни. И для тех, кто находится внутри фридмона, превращается в точку наш мир, вся вселенная, существующая частицей этой земли.

Тут я остановился, потому что услышал позвякивание, голоса, скрип... Еще немного, и я бы налетел на идущих впереди. И хорошо, что я этого не сделал.

Вид разгромленного лагеря привел меня к мысли, что лесник и остальные его друзья либо смогли убежать, либо попали в плен. Хотя я и надеялся на первое, второй вариант казался мне почему-то более вероятным. Правда, огнестрельного оружия здесь не знают, и войны оказываются куда более тихими, чем в наше время. День открытия охоты где-нибудь в костромском лесу даст по части шума десять очков вперед целому феодальному сражению.

Мне были видны лишь те, кто шел сзади. Пришлось поэтому снова углубиться в лес и обогнать их.

Устал я невероятной Надеяться на второе дыхание не было оснований. Так всю жизнь собираешься — как к зубному врачу: буду вставать на полчаса раньше, делать гимнастику, ходить до института пешком. Но ложишься поздно, утром никак не заставишь себя встать, бежишь за автобусом и снова думаешь: вот с понедельника обязательно... Я с понятной горечью думал об этом, ковыляя по лесу, нагибаясь, выискивая дорогу между елками. Вот вернусь, тогда уж... Я еще не стар, и мои сверстники играют в футбол и взбираются на Хан-Тенгри. А лето буду проводить в доме Сергея Ивановича... не откажет же он младшему брату...

Я выглянул из леса. Мимо меня в сумерках тянулись телеги. На телегах лежали люди. Кто-то стонал. Перед телегами горсткой брели крестьяне... И тут я впервые увидел вблизи их врагов.

Давно еще, когда мне было лет пятнадцать, я отыскал у нас дома в кладовке кучу фантастических книг — их читал мой отец в молодости. Среди них были фантастические романы о разумных муравьях. Авторы селили их на Марсе и на Луне, увеличивали до человеческого роста, наделяли коварством и жестоким холодным разумом. К муравьям я стал относиться с тех пор погано и побаивался их более, чем они того заслуживали, а оттого награждал разумом и действия их маленьких земных собратьев. А потом, через год, прочел где-то, что насекомые не могут стать разумными. И не могут быть такими большими. Это было доказано мне популярно, и я хотел в это поверить. Да и новых романов о муравьях что-то не попадалось... И вот сейчас, в мире Агаш и Луш, я увидел, как громадные, чуть ниже человеческого роста, муравьи ведут куда-то людей.

Громадные круглые головы насекомых, вытянутые вперед острым концом, круглые тельца и тонкие лапки придавали вечерней картине зловещий оттенок кошмара... И только тогда мне пришло в голову — а не сон ли все это? Должен признаться, что я больно ущипнул себя и больше к сомнениям не возвращался. Мне показалось, что один из муравьев обернулся в сторону леса, и я подумал, что у них здесь здорово должны быть развиты слух и обоняние... Я замер. Процессия тянулась мимо, Еще телеги, кучка муравьев с копьями и колчанами за спиной, закрытый возок, снова муравьи... В толпе крестьян, которых гнали перед телегами, лесника не было.

Когда колонна миновала меня, я решил снова обогнать ее и заглянуть вперед. Я не мог поверить, что лесник погиб. А может, он лежит раненый на телеге?

Я снова углубился в чащу. Там, внутри нее, было почти темно. Через несколько шагов я наступил на сучок, который затрещал так, словно в нем была спрятана противопехотная мина, и метнулся глубже в лес: если они за мной погонятся, мне не убежать, я слишком устал. И тут же я понял, что лес кончился.

Я стоял на его краю, глядя, как колонна, полускрытая облаком пыли, втягивается в широкую пустошь. Впереди переливалась сиреневым и оранжевым река, отражая закатные облака. За рекой поднималась невысокая, почти правильной формы, конусообразная гора. Далеко впереди, у самой реки, стояли еще несколько муравьев, и их панцири отблескивали закатным светом. Стражники стали подгонять колонну, носороги потянули быстрее, мне же пришлось остановиться. Мне нельзя было выходить на открытое место.

И пока я так стоял, размышляя, что же делать дальше, встречающие муравьи подошли к колонне, и все шествие остановилось. Муравьи скопились у крытого возка, и, когда дверь в него раскрылась, оттуда вытащили человека. Это был Сергей Иванович. Мне показалось, что я вижу зеленую гимнастерку, седеющий ежик волос. Так и должно было быть. Иначе я зря спешил по лесу и прятался в овраге. В отличие от лесника я не могу устраивать здесь восстания и скрываться в лесу с Кривым. Я не свой, я тут же начну рассуждать о правомочности своих действий и приду к выводу, что решать такие вопросы должен не я, а кто-то другой, кто отвечает, кто подготовлен. Хотя кто, черт возьми, правомочен или подготовлен? Любое невмешательство — это только новый вид вмешательства, зачастую только более лицемерный, потому что и невмешательство тоже кому-то нужно.

На основе этих моих рассуждении нельзя делать вывод о том, что я в чем-то согласился с лесником, перешел на его сторону. Нет, все сомнения, кипевшие во мне, остались, но какое-то время они были заглушены необходимостью. Цивилизованному человеку стыдно оставить собрата в беде — я не вступал в отношения с этим миром, я должен был спасти лесника. И только.

Но, увидев Сергея Ивановича, я успокоился. Я не представлял еще, как я выручу его, но не сомневался, что выручу. Хотя бы для этого пришлось на неделю застрять в этом мире. Я даже забыл, что не знаю языка, что каждый встречный отличит меня за версту, что я зверски голоден, что у меня ноги подкашиваются от усталости. Главное — я отыскал лесника.

Я следил за колонной до тех пор, пока она не пересекла реку и не скрылась в горе или где-то рядом с горой — я не разглядел. Над пустошью, расползаясь от реки, поднимался туман, смешанный с пылью; летучая мышь — или что-то вроде нее — промчалась низко, спеша к лесу. За рекой загорелся тусклый огонек. Быстро холодало. Вокруг было пусто, и в лесу, за моей спиной, раздался лай, перешедший в вой. Я вспомнил о некулах.

Я снял с плеча ружье, вышел на пустошь и через несколько минут был у реки.

...Уже почти стемнело, но вышла местная луна. Дорога спускалась к реке, а на мосту стоял муравей с длинным копьем. Как только я увидел его, то свернул с дороги и добрался до реки метрах в двухстах от моста. Низкий берег терялся в осоке, и, когда я попытался выйти к воде, ноги начали вязнуть в иле. Пришлось довольно долго идти, пригибаясь, по берегу, прежде чем я отыскал участок песчаного дна. Там река разливалась широко, посредине ее был островок, и я надеялся, что она неглубока. Как я переплыву ее с ружьем, когда мне его и по суше нести тяжело, я не представлял, но и сидеть на берегу дальше было нельзя. Я напился, отчего лишь усилился голод, еле отговорил себя от блаженной мысли полчасика поспать и вступил в теплую мелкую воду.

До островка я добрался довольно быстро, промок по пояс, но ночь не грозила заморозками, так что это можно было перетерпеть. Зато в протоке, отделявшей островок от дальнего берега, меня ждали испытания. Протока была узкой, рукой подать до черного обрывчика, опушенного кустами. Первый шаг погрузил меня по колени, вторым я ушел по бедра. Течение здесь было куда быстрее, чем в широком русле, меня сносило вбок, и я знал уже, что следующий шаг заставит меня потерять равновесие. И тогда я поднял руку с ружьем и в полном отчаянии оттолкнулся — тут же меня понесло, одной руки не хватало для того, чтобы выгребать, я хлебнул воды, но ружья не выпустил.

В общем, на тот берег я все-таки выбрался, подняв больше шума, чем стадо слонов, переходящее через реку Ганг. Но промок я настолько, что пришлось, засев в кустах, выжимать, дрожа от холода, все, что было на мне. Самое печальное — промокли сигареты, а ведь именно сигарета могла сейчас спасти меня от заячьей дрожи: дрожали не только руки и ноги, но наверняка и селезенка, и прочие внутренние органы.

Все еще дрожа, я натянул разбухшие ботинки на мокрые носки. До отвращения холодные брюки и рубашка сразу прилипли к телу. Я старался отвлечься от физических невзгод мыслями о том, что ждет меня впереди, но мысли получились кургузыми, и менее всего я был похож на полководца перед решающим сражением. Все время вылезал один бесконечно варьирующийся вопрос: «А что я здесь делаю?»

В этом разлившемся через бездну миров и человеческих судеб вечере были затеряны, разобщены и связаны лишь моим эфемерным существованием — словно рождены моим воображением — люди, никогда не видевшие друг друга: Маша, погибшая полвека назад, и Луш, стоящая у плетня за лесным озером и глядящая на дорогу, что выходит из леса. Тетя Алена, листающая семейный альбом, и тетя Агаш, сидящая в черной щели и сдерживающая кашель, чтобы не услышали сукры. И погибший в туче Валя Дмитриев, и мои соученики по университету, которые собирались со следующей недели отправиться по Волге на катере и звали меня с собой... И реальность этих искр в бесконечности превращала вечерние звезды в огни города, и в далекое окошко в доме тети Алены, и в лучину, и в светильник перед дверью в хижину Агаш.

Огненная россыпь оборвалась, очертив чернотой горб горы-муравейника, в котором мне следовало разыскать лесника. Взошедшая луна подсветила черные дыры входов в холм. Они были редко разбросаны по всей стометровой высоте откоса. Самый большой вход был внизу — прямо передо мной.

Моя миссия была совершенно бессмысленна, и, если бы я не так замерз, я бы догадался вспомнить детство и совершить вычитанные в книгах ритуалы прощания с жизнью. Но, на счастье, я все никак не мог согреться, зверски хотел курить, был голоден, у меня ныл зуб — так что было не до смерти. К тому же я надеялся, что в горе-муравейнике будет теплее, чем снаружи, и потому мысль о проникновении туда была не столь ужасна.

У муравейника должны быть часовые. Не только у моста, но и у входов, и уж наверняка — у главного входа. А это значит, что лучше мне проникнуть туда через второстепенный туннель. Я подошел к горе так, чтобы меня нельзя было увидеть от моста или от главного входа, и на четвереньках полез к черному отверстию метрах в десяти вверх по склону. К счастью, муравейник был сложен из твердой породы, восхождение было несложным. У самого входа я лег наземь и некоторое время прислушивался. Тихо. Тишина эта могла происходить и оттого, что никто не подозревает о моем приближении, и оттого, что они затаились, поджидая меня, чтобы надежней и вернее схватить в темноте.

Я приподнял голову и подполз поближе. Свет местной луны проникал только на метр вглубь, дальше не было ничего — вернее, могло быть что угодно.

Я долго приглядывался к темноте, и мне начало казаться, что сама по себе темнота начинает шевелиться, дрожать, переливаться, наполняться искорками, которые концентрировались в глубине, выявляя источник света. Вернее всего, моим глазам очень хотелось увидеть там свет.

Ну что ж, сделаем этот шаг? Ведь с тобой, Николай Тихонов, ничего не случится. С тобой вообще ничего не может случиться. Случается с другими. Я утешал себя таким образом до тех пор, пока не разозлился, — такое утешение отказывало леснику в праве на равное со мной существование и в то же время увеличивало опасность для него. Какая у меня была альтернатива? Убежать к двойной сосне, или как ее там? Прийти к Маше и сказать: «Простите, но ваш Сергей Иванович попал в плен к муравьям, и вряд ли они выпустят его живым, потому что в своем радении поймать его они даже повесили изображающую его куклу на площади вашей деревни. Но не беспокойтесь, Маша, я буду о вас заботиться, причем куда более культурно и интересно, чем лесник, я покажу вам Москву, свожу в Третьяковскую галерею и покатаю в парке на аттракционах...»

Я резко поднялся и, нагнувшись, вошел внутрь. Руку я держал перед собой — если с потолка что-нибудь свисает, по крайней мере не набью шишку. Кислый, затхлый запах густел по мере того, как я продвигался дальше от входа. Иногда сверху гулко падала капля воды или раздавался шорох. Я старался убедить себя, что муравьи должны спать, крепко спать. Свет впереди не становился ярче, но расплывался, ширился, и я понял, что ход, которым я следовал, вливается в другой, освещенный. И когда я наконец добрался до него и увидел за углом неровно светивший факел, воткнутый в щель в стене, то сразу вспомнил, что здесь уже тоже был — в грезах. И даже копоть, нависшая опухолью над факелом за долгие годы горения, была мне знакома. А если так, то впереди должен быть ярко освещенный зал, куда входить нельзя. Раз уж я решил довериться информации грез, лучше было в тот зал не соваться.

Ход, в который я попал, был шире и выше первого. Второй факел виднелся шагах в ста, за ним еще один. На свету мои шансы разыскать лесника несколько увеличивались. Но зато и я был виден издали.

Я положил на пол у начала хода, которым я проник сюда, размокшую пачку сигарет, чтобы не промахнуться, если придется в спешке спасаться. Ружье я взял наперевес — не потому, что оно поможет мне в этих туннелях, — так я чувствовал себя уверенней.

Я увидел глубокую нишу. Там что-то белело. Почему-то я подумал, что в нише хранятся муравьиные яйца, и поспешил прочь — у яиц могли дежурить солдаты. Из следующей ниши донесся глубокий вздох. Кто-то забормотал во сне. Люди? Ну хоть бы спичку, хоть бы огарок свечи! Я заглянул в нишу. Было так тихо, что можно было различить по дыханию — там спят человек пять-шесть.

— Сергей, — позвал я шепотом. Я был уверен, что, если лесник здесь, он не спит. Никто не отозвался.

Нет, его здесь быть не может. Если пленника везли в крытом возке и охраняли, вряд ли его оставили на ночь в открытой нише, в обществе других пленников. Муравьи должны понимать, что люди могут освободиться.

Я пошел дальше.

Странный мир. Люди и муравьи. Чем могут сгодиться люди разумным муравьям, холодным, организованным и лишенным чувств? Выращивают для них зерно и фрукты? Или, может, служат муравьям живыми консервами?

На перекрестке туннеля пришлось затаиться. Несколько муравьев пробежали неподалеку. Я не мог разглядеть их как следует в неверном свете далекого факела — лишь тяжелые головы отбрасывали блики света да стучали по полу ноги. Значит, спят не все. Я решил пока не пользоваться тем широким туннелем, по которому пробежали солдаты муравейника: могут пробежать и другие.

Я пересек этот туннель и пошел по узкому, хуже освещенному ходу, ниши стали попадаться чаще, порой в них спали люди — может быть, одурманенные ядом (что это — готовая пища?). Ход наклонно пошел вниз. Пожалуй, стоит спуститься. Тюрьмы чаще бывают в подвалах.

И тут я услышал пение. Заунывное, тоскливое, на двух нотах. Пение рабов.

Это была не ниша, а низкий круглый зал, в котором горели факелы, и я впервые смог поглядеть на рабов вблизи.

И тут рухнула гипотеза. Ведь стоит вам построить гипотезу, отвечающую поверхностной связи фактов, домыслить ее, достроить легендой, как она становится всеобъемлющей и отказаться от нее куда труднее, чем принять вначале.

У входа в зал кучей лежали муравьиные головы. Неподалеку, другой кучей — туловища муравьев. Словно кто-то рвал их на части и пожирал, обсасывая хитиновые оболочки.

Посреди зала, в кружок, сидели бледные, худые люди с плохо остриженными спутанными черными волосами, в черной облегающей одежде, подобной старинным цирковым трико. Кто они? Союзники или пожиратели муравьев, мстители за людей?

Это были муравьи-солдаты.

Стащите с солдата громадный, вытянутый рыльцем вперед шлем, снимите кургузый пузатый панцирь и блестящие налокотники — внутри окажется человек. А виной моему заблуждению была несоразмерность их доспехов по сравнению с тонкими их конечностями да мое воображение, готовое к тому, чтобы скорее увидеть громадного разумного муравья, чем тупого, худого и грязного человека.

Солдаты пели песню из двух нот — сначала с минуту тянули одну, то тише, то громче, потом сползали на другую. И такая тоска исходила от этой кучки людей, скорчившихся в темном зальце при свете тусклых факелов, дым которых уходил не сразу, а полз по стенам, попадал в глаза и тек по полу, по сырым, плохо пригнанным плитам, что мне стало даже стыдно за то, что я их считал муравьями.

В сущности, ничего не изменилось. Отпала лишь предвзятость.

Рядом со мной громко процокали шаги. Кто-то оттолкнул меня и прошел в зал. Это тоже был воин — без шлема, но в пузатой железной кирасе. Из-под кирасы спадала короткая зеленая юбка. На черном трико вышиты зеленью звездочки. Вошедший крикнул что-то солдатам. Солдаты поднимались, подтягивались, и я подумал, что был не прав, полагая, что нет разницы между муравьями и людьми. Никакой муравьиный начальник не оттолкнул бы меня от двери, спутав в темноте со своими солдатами.

Но на всякий случай я отошел подальше от зала. Начальник мог спохватиться, пересчитать свою команду. В зале был шум, позвякивание железа. Я догадался, что солдатам было ведено привести себя в боевой порядок. Надеюсь, не для того, чтобы искать меня.

Два солдата, уже в муравьином обличье — как только я мог спутать? — выскочили из зала и поспешили прочь. Офицер шел сзади, тыча коротким мечом в спину одного из них. Офицер был недоволен.

За неимением лучшего варианта я хотел было последовать за ними, но чуть было не столкнулся с остальными. Они не стали облачаться в доспехи, а, если я догадался правильно, решили избрать более укромное место для отдыха. Солдаты негромко переговаривались, один хихикнул, но тут же замолчал. Я замер. Но, не доходя до меня нескольких шагов, солдаты нырнули в какую-то дыру. Так меня никто и не заметил. Два солдата с офицером уже исчезли в глубине коридора, и я отправился в ту же сторону. По дороге я заглянул в зал. Там было пусто. Лишь чадили факелы и грудой лежали невостребованные кирасы и шлемы.

Вблизи не было ни души. Я не мог преодолеть соблазна. Хотя какой уж тут соблазн — маскировка кого только не спасала! Шлем с трудом налез, чуть не содрав уши, снять его будет еще труднее. Кираса же никак не сходилась, я запутался в крючках, и тут мне показалось, что кто-то приближается к залу. Я уронил кирасу на пол и под оглушительный грохот железа выскочил в коридор и побежал от зальца. Щель в шлеме была узкой, и мне приходилось все время наклонять голову, чтобы увидеть, что происходит впереди. Не дай Бог, подумал я, появиться в таком виде в институте, — как Минимум, будет обеспечено увольнение по собственному желанию. И я решил в таком виде в институте не появляться.

Не знаю, то были те же самые офицер и солдаты или другие, но на освещенном перекрестке офицер молча и остервенело избивал двух солдат. Нет, это другая компания. Мои бы еще не успели раздобыть огромный котел с каким-то варевом и благополучно разлить его, за что и подвергались наказанию.

Довольно нахально, словно муравьиный шлем был шапкой-невидимкой, я остановился в десятке метров от офицера и ждал, чем все кончится. Кончилось тем, что офицер устал молотить солдат, и те, опустившись на колени, принялись собирать с пола горстями похлебку и бросать непривлекательную пищу обратно в котел. Офицер помогал им, подгребая сапогами коренья и гущу поближе к котлу.

За этим занятием их застал какой-то другой начальник, проходивший, как назло, по коридору. Он прикрикнул на меня, но при виде безобразия на полу забыл, к счастью, о моем существовании. Новый начальник был повыше чином, чем первый офицер. Об этом свидетельствовали не знаки различия — черта с два их разберешь в этой пещере, — но манера обращения. У начальника в руке оказалась плеть, с помощью которой он тут же начал учить офицера получше следить за солдатами. Отношения в этом мире были просты до обнаженности. Солдат большой начальник не бил — солдаты замерли в суповой гуще, ожидая, когда экзекуция окончится, вернее — перейдет на более низкий уровень. Я правильно предположил последствия: как только начальник, поскользнувшись в супе и громко выругавшись, ушел дальше, офицер выместил свое унижение на солдатах, и те покорно пережидали гнев, а затем продолжили сбор похлебки с пола.

А я стоял и не уходил. Вряд ли столь небрежное обращение с похлебкой свидетельствовало о низком гигиеническом образовании. Похлебка предназначалась кому-то, кого следовало кормить, но чем — не имело существенного значения.

Сбор похлебки продолжался недолго. Офицеру надоело наблюдать, и он куда-то послал одного из солдат. Тот вернулся через минуту с жбаном воды, котел долили, и все остались довольны. Кроме меня. Пока я бегал по туннелям, я забыл о том, что устал, промок, голоден и разбит. Но по мере того, как я стоял, я вдруг пришел к странной и противоестественной для цивилизованного старшего научного сотрудника мысли о том, что похлебка, наверное, совсем не так отвратительна, как кажется с первого взгляда: у нее одно важное преимущество перед камнями, окружающими меня, — она съедобна. К счастью, офицер с таким энтузиазмом подгонял несчастных солдат, тащивших котел, что мне пришлось отказаться от мысли задержаться и отведать остатков затоптанной похлебки. Но, спеша за солдатами по коридору, я не без издевки над самим собой вспомнил, что мне, как легендарной Железной Маске, никогда уже не снять шлема, и, если только меня не станут кормить через соломинку, то придется помереть от голода, что, кстати, может случиться довольно скоро.

В таких радужных мыслях я спустился вслед за солдатами по скользкой узкой лестнице, пересек с десяток туннелей, еще раз спустился вниз: теперь мы были ниже уровня земли, стены стали совсем серыми, а по полу стекал тонкий ручеек нечистой воды.

Впереди послышался шум. Я не мог определить, из чего он слагается. Шум был неровный, глухой, но какой-то однообразный — он исходил из недр горы и словно заполнял какое-то обширное гулкое помещение. Туннель, по которому мы шли, открылся на широкую площадку, и, когда солдаты свернули в сторону, я смог рассмотреть источник этого ставшего почти оглушительным шума.

Множество факелов освещало огромный зал. От их дыма и мерцания было трудно дышать, и картину, ими освещенную, нельзя было придумать. Даже Данте, специализировавшийся по описанию ада, остановился бы в растерянности перед этим зрелищем.

Не знаю, сколько там было людей, — наверное, больше сотни. Некоторые из них дробили камни, другие подвозили их на тачках, третьи отвозили куда-то вдаль, к огням и шуму, измельченную породу — этот зал был частью, говоря современно, технологической цепочки, которая, вернее всего, тянулась от рудников, спрятанных недалеко, в пределах этой же горы, к литейным и кузнечным цехам.

Но самое страшное началось после того, как один из солдат ударил в железяку, висевшую на площадке, и люди увидели котел с пищей.

Грохот молотков и скрип тачек, гул ссыпаемой породы оборвался. Возник новый шум, утробный, жалкий, — он слагался из слабых голосов, шуршания босых ног, стонов, ругани, вздохов — далеко не все могли подойти к площадке, некоторые ползли, а кто-то, лежа, молил, чтобы ему тоже дали поесть. Господи, подумал я, сколько раз в истории Земли вот так равнодушные солдаты, часто сами бесправные и забитые, ставили перед узниками котел с пищей, и для тех в котле плескалась надежда прожить еще день и умереть на день позже, потому что из этой пещеры люди не выходили. И убедиться в том было нетрудно — из лежавших лишь один молил о пище. Остальные, а их было не менее десяти в пределах круга света, валялись неподвижно, будто спали. Здесь еще не додумались до того, что сытый раб работает лучше голодного.

Люди не брались за пищу. Они доставали откуда-то черепки (один подставил ладони) и покорно ждали, пока солдат зачерпнет из котла этой похлебки, сегодня еще более ничтожной, чем всегда, разбавленной, и можно будет отползти в угол, обмануть себя процессом поглощения пищи.

Я был достаточно начитан в истории, чтобы знать, что в одиночку, даже вдесятером, не изменить морали и судеб этой горы и других таких же гор.

Донкихотствовал мой лесник, сражался с ветряными мельницами. А я? Насколько допустима и простительна позиция благополучного, даже сочувствующего наблюдателя? Успокой себя, сочти дурным сном дохнущих с голоду рабов — где же тогда предел реальности? И когда же начнется противление злу?

Теперь мне втрое нужней было найти лесника.

Я брел по муравейнику, сам схожий с муравьем, в тесном шлеме, который больно жал уши. Пот стекал на глаза, и бешенство брало, оттого что нельзя было его вытереть.

Я думал, что непременно найду Сергея — гора не так уж велика и расположение ходов в ней подчиняется определенной системе, и я уже мог начерно ее себе представить: по разным уровням к центру сходятся радиальные туннели, причем освещены только основные. Я заблудиться не могу. Мне угрожает лишь встреча с местным начальником или любознательным сукром, который решит со мной побеседовать либо усомнится, что мои джинсы сшиты в муравьином ателье. Необходимо лишь последовательно, не пропустив ни одного уровня, обойти все коридоры, даже если на это уйдет вся ночь.

К камерам, в которых были заперты пленники, я вышел потому, что вскоре нагнал солдата с котелком похлебки. Котелок был невелик, на несколько человек. Я знал, что иду правильно.

Камеры охранялись. Стражники сидели на корточках у грубо сколоченной двери, и, когда подошел солдат с похлебкой, один из них поднялся, отодвинул засов. Второй, вооруженный большим топором с двумя асимметричными лезвиями, встал за его спиной. Солдат с котелком не зашел внутрь, а наклонился и поставил котелок на пол камеры и хотел было выйти, но его остановили голоса изнутри. Солдат с топором рассмеялся; видно, то, что там происходило, было в его глазах очень забавно.

И тогда я услышал голос лесника. Обыкновенный голос, словно ничего такого и не случилось.

— Дурачье, — сказал он, — русским же языком говорят: как хлебать будем, если руки связаны?

Лесник будто догадался, что я рядом, будто хотел показать мне, где его искать.

Вот и все. Я пришел. Но не мог пока сказать об этом.

Я не сомневался в том, что мы уйдем. Я не планировал никакой боевой акции, да и любое планирование вряд ли имело смысл. Надо было все сделать как можно скорее, пока обстоятельства мне благоприятствовали. Солдат, который принес котелок, расстегнул кирасу и достал из-за пазухи стопку неглубоких плошек. Его товарищи спорили, стараясь разрешить проблему: как накормить пленников, но держать их при этом связанными.

Наконец они пришли к компромиссному решению. Из камеры выволокли двоих — лесника и Кривого. Руки у них были связаны за спиной. Двое стражников навели на них копья, один — тот, что с топором, — зашел сзади, еще один развязал им руки. При этом солдаты покрикивали на пленных, толкали их, всячески выказывали свою власть и силу, что исходило скорее от неуверенности в ней и от привычки самим подчиняться только толчкам и окрикам.

Лесник с трудом вытащил из-за спины затекшие руки и поднял кисти кверху, медленно шевеля пальцами, чтобы разогнать кровь. Момент был удобным — как раз разливали по мискам. Я был совершенно спокоен, уверен в себе — может, очень устал и какая-то часть мозга продолжала упорствовать, полагая, что все происходящее — не более как сон. А раз так, то со мной ничего не может случиться.

— Ироды железные, фашисты, — без особой злобы ворчал лесник. — Вас бы сюда засадить. Доберусь я еще до ваших господ, ой как доберусь...

Солдат прикрикнул на него, толкнул острием копья в спину.

— Сам поторопись, — ответил лесник. Разговаривал он с ним только по-русски. Будто ему было безразлично, поймут ли его.

— Ну вот, — продолжал он, поднимая с пола плошку, — даже ложку не придумали. Что я, как свинья, хлебать должен?

Вопрос остался без ответа. Солдаты смотрели на него с опаской, как на экзотического зверя.

— Нет, такой мерзости я еще не пробовал, — сказал лесник. — Так бы и плеснул тебе в морду...

И я понял эти слова как сигнал.

— Плескай! — крикнул я. И мой голос показался мне оглушительным. Звук отразился от внутренних стенок моего шлема и ударил в уши.

Лесник услышал. Реакция у него была отменной. Он не потерял ни доли секунды. И лишь когда плошка с похлебкой полетела в незащищенное лицо нагнувшегося к нему солдата, а вторая плошка вылетела из рук Кривого, я понял, что они это сделали бы и без меня. Не рассчитывали они на мою помощь. Больше того, Кривой понимал по-русски, и последние слова лесника относились к нему. Были сигналом.

А дальше, в следующую минуту, было вот что: почему-то я не стрелял — как-то в голову не пришло. Я бросился на стражников сзади, размахивая ружьем, как дубинкой, и моя акция была совершенно неожиданной как для стражников, так и для лесника с Кривым — я-то забыл, что вместо лица у меня железное муравьиное рыло. Ложе ружья грохнуло о шлем солдата, шлем погнулся, солдат отлетел к стене, сбил с ног другого стражника, и мной почему-то овладело желание немедленно заполучить двойной топор, которым размахивал солдат, правда, угрожая более своим, чем чужим. Я вцепился в древко топора и рванул его к себе — ружье мне мешало, но солдат с перепугу отпустил топор, и я оказался обладателем двух видов оружия, а на самом деле выключился из битвы за перевооруженностью. Пока стражники старались понять, что за гроза обрушилась на них с тыла в образе одного из них, Кривой свалил ближайшего к нему противника, еще с одним справился лесник и отнял у него копье. Остальные стражники сочли за лучшее сбежать, вопя как резаные.

Я с ружьем и топором бросился к леснику, и заглушенные шлемом мои возгласы испугали Кривого, который встретил меня выставленным навстречу копьем. Но Сергей Иванович соображал быстрее. Я полагаю, что он сначала узнал свое ружье, потом связал с ним страшилище в муравьином шлеме и разорванных джинсах.

— Спрячь пику! — крикнул он Кривому. — Это моя интеллигенция.

Не могу сказать, что это было самое приятное для меня обращение в темном туннеле горы, — наверное, я слишком закомплексован, но в принципе я был рад возможности сложить с себя ответственность — хватит с меня одиночных путешествий.

— Давай ружье, — сказал Сергей Иванович. — Что, пули берег?

— Не хотел поднимать шума, — ответил я.

Кривой уже был в камере, резал веревки на руках остальных пленников.

— Сейчас они вернутся, — сообщил я леснику. Я не ждал, что он согласно правилам игры бросится мне на шею с криком: «Ты мой спаситель!», — но уж очень он был деловит и сух.

— Знаю, — сказал он. — Ружье в порядке? В реке не купал?

— В порядке, — кивнул я.

И все-таки встреча должна была быть иной.

— Ну, где там люди? — крикнул лесник в темноту камеры.

В конце коридора послышались крики и топот.

— Ты никого не прихлопнул? — спросил лесник, срывая со стены факел и придавливая сапогом плошку. Сразу стало темнее.

— Нет.

— И не должен был. Не в характере, — ухмыльнулся лесник. — Шлем так подобрал?

— Так.

Как будто я был мальчишкой, обязанным отчитаться дяде в шалостях, но все-таки не преступившим пределов дозволенного. Хотя неясно было, одобряет ли он мое миролюбие или не согласен с ним.

— Молодец, — сказал лесник. — Кривой тебя даже не признал.

Кривой выгонял своих товарищей из камеры. Делал он это бесцеремонно, не у всех даже были развязаны руки — он на ходу пилил путы, покрикивал на черные шатающиеся тени.

— Пойдешь за ними, у тебя топор — прикроешь. Да и защищен ты больше, чем другие. Я задержусь.

— Я с вами.

— Хватит, неслух, — возразил лесник. — Ведь случай, что ты нам помог. Скорее всего должен был и сам погибнуть, и нам не помочь. Ясно? Ты хоть теперь слушайся. Я лучше знаю.

И я пошел за толпой узников, которые трусили к выходу из горы. Они успели разобрать оружие, брошенное солдатами.

Кривой обогнал толпу и бежал впереди, вырывая из стены редкие факелы и топча их. Я оглянулся. Маленький силуэт лесника, затянутый дымом, виднелся у стены.

Вдруг гулко, на всю гору, раскатился выстрел. Ему ответил далекий крик. Силуэт лесника сдвинулся с места — он бежал к нам.

Я поспешил за толпой, туда, где впереди коридор пропадал в полной темноте.

Я чуть не проскочил нужного поворота, черного в темноте, и приостановился в нерешительности — и тут меня догнал лесник.

Он чуть было не налетел на меня, но каким-то шестым чувством понял, что я остановился, и крикнул на ходу:

— Сюда, направо, только на цыпочках. Теперь мы должны исчезнуть.

Я бежал шаг в шаг за Сергеем, и вскоре мы догнали остальных.

Лесник шепотом окликнул их, Кривой, тоже шепотом, отозвался. Мы остановились.

Мы отошли от входа в этот второстепенный штрек метров на сто, и я увидел, как в его отверстии промелькнул факел — преследователи бежали мимо по главному туннелю.

— Вы что, здесь были раньше? — спросил я лесника тихо.

— Чего я здесь не видал? — отозвался он.

— А как знали?

— Раньше обсудили, в камере. Кривой здесь бывал. А вообще-то отсюда не возвращаются.

— Знаю, — сказал я.

— Поглядел?

— Поглядел.

— Наверное, даже больше меня видел. Я-то все больше понаслышке.

Мы пошли дальше.

Я не сразу догадался, что мы вышли на склон, — ночь стала темной, луна зашла, и только по внезапной волне свежего воздуха я понял, что мы покидаем гору.

Я остановился, пока мимо проходили остальные. Поглядел на небо. И подумал, что, может быть, больше никогда не увижу этого звездного неба! Ни одного знакомого созвездия я не нашел.

Мы шли очень медленно, куда медленней, чем если бы оставались вдвоем с лесником. Мне хотелось припустить вперед — ведь впереди была еще река, потом открытая пустошь. А приходилось идти сзади плетущихся крестьян, и ничего другого не оставалось.

Нам дали передышку — ровно настолько, что мы успели спуститься с горы к реке ниже моста, примерно там, где я через нее перебирался. Но, к сожалению, нас увидели раньше, чем мы смогли затаиться в прибрежных кустах. Стрела на излете воткнулась в землю рядом со мной.

Мне казалось, что я давно, много дней, месяцев, иду по этому миру — и в сущности какая разница, параллельный он или фридмановский, заключенный в электрон. Он живой, в нем убивают, мучают и даже живут. И я в нем живу. И лесник.

В кустах произошла задержка — пленники не решались ступить в воду. Сквозь листву угадывался мост, и по нему уже бежали черные фигурки — нас могли отрезать от леса.

— Тут глубоко, — предупредил я. — За островом мельче.

— Знаю, — сказал лесник. — Многие плавать не умеют. Говорил я Кривому — к мосту надо бежать. Сбили бы караул. Ты, может, эту банку с головы стянешь? А то перевернет тебя, как корабль в бурю.

— Ее не снимешь.

Кривой, ругаясь, размахивая руками, загонял в воду крестьян. Лесник присоединился к нему. От горы уже подбегали солдаты — стрелы начали ложиться среди нас.

— Топор не бросай! — крикнул мне лесник. — Если тяжело, Кривому отдай.

— Не тяжело.

— Тогда плыви впереди. Если кто из солдат на тот берег прибежит, круши, не стесняйся.

Я прыгнул в воду, ухнул по пояс, потом по грудь. Но на этот раз мне не надо было беречь ружье и я знал, что в пяти шагах будет мелко. Когда я выбрался на берег острова, в затылок ударила стрела — я так и клюнул головой вперед. Муравьиный шлем меня на этот раз спас. Я оглянулся. На середине протоки покачивались несколько голов. Я поспешил дальше. В шлеме, с топором, я чувствовал себя увереннее. Но никто меня не встретил. Голоса стражников звучали неподалеку, им ответил крик с того берега. Где же наши?

Первым вышел Кривой, он нес в одной руке копье, другой поддерживал совершенно обессилевшего человека. Человек попытался сесть на траву, но Кривой зашипел на него, сунул в руку копье и снова побежал к воде, чтобы помочь еще одному беглецу.

К тому времени, когда на берег вышел лесник, — а он замыкал наш отряд, — сюда перебрались человек шесть-семь.

Впереди на полпути к лесу стояла стена тумана — белого, густого, спасительного. Но тут нас настигли стражники, бежавшие по берегу.

Не знаю, убил ли я кого-нибудь, ранил ли в той короткой схватке на берегу и потом на пути к пустоши. Я махал топором, бежал, снова махал, был треск металла, крики, но люди в муравьиных шлемах, возникавшие и пропадавшие в ночи, казались фантомами, безликими, бестелесными и неуязвимыми.

Мы скрылись в глубине леса, в густом ельнике. Уже светало. На ходу я несколько раз засыпал, но продолжал идти, в дремоте различая перед собой широкую спину Кривого, даже видя короткие сбивчивые сны, действие которых происходило в лаборатории. В них я доказывал кому-то, что свободная поверхностная энергия планеты, сконцентрированная в точке искривления пространства, способна создать переходный мост между мирами, а на меня показывали пальцами и укоряли в необразованности.

Мы сидели в густом ельнике. Где-то неподалеку контрабасами гудели трубы — муравейник переполошился. Кривой вывел нас к зарослям, оттуда лесник знал тропку домой. В деревню возвращаться было нельзя, там наверняка ждут. Кривой и его люди уходили в дальний лес, к тем своим товарищам, что не пришли вчера, когда крестьяне из соседних деревень решили напасть на гору и освободить своих. Лесник и ездил к ним, чтобы отговорить от нападения малыми силами, обреченного на поражение еще до его начала. На прощание Кривой начал просить ружье. Лесник не дал. Отговорился тем, что нет патронов. Кривой насупился.

— Я скоро вернусь, — пообещал лесник.

— Куда? Некуда тебе возвращаться. В деревне никого нет. Агаш я с собой уведу. В дальний лес.

Мы попрощались.

Я шел за лесником по узкой тропке, он отводил ветки, чтобы не стегали по лицу.

— Дай ему ружье, — ворчал лесник. — У меня одно. Сам как без него обойдусь? А они все равно стрелять не умеют. Да и патронов нет...

Лесник оправдывался перед самим собой. Я молчал.

— А возвращаться мне сюда и в самом деле не к кому. До дальнего леса три дня ходу. Я там и не бывал. А здесь все опустошенное... Неудачный для тебя выход получился.

— Мы вернемся, Сергей Иванович, — сказал я. — Подумаем, как это лучше сделать. Обязательно.

Солнце уже поднялось, в шлеме было жарко, но я его не снимал, а лесник не возражал, сказал, что, если нас увидят, лучше, если я буду в шлеме. Топор оттягивал плечо.

— Долго идти? — спросил я.

— Через час будем. Пить хочется.

— А я уже, знаете, ничего не хочу.

— Дурак, — сказал он незло. Вдруг он обернулся. Он улыбался. Как будто поднатужился, сбросил разочарование, усталость, горечь. И голос его звучал почти весело: — Молодой еще... Мне бы с Кривым уйти, в лес. Организация им нужна. Уж очень отсталые. Так ведь они никогда от горы не отделаются. Может, насовсем вернуться?

— Не спешите, — сказал я.

— Я не спешу. Видишь же, домой иду. Маша там с ума сходит. Вторые сутки... — Он опять обернулся и подмигнул мне. — А ведь меня боялись. Специально охотились. Слухи ходили, что я принц переодетый и с нечистой силой в друзьях... Вернусь. А то ведь как бараны, ну честное слово, как бараны.

И он пошел быстрее, словно спешил обернуться поскорее и заняться здешними делами — всерьез.

— А Маша? — спросил я.

— Машу тебе оставлю, — сказал лесник. — Не бросишь?

Я не ответил.

Когда мы проходили открытой поляной, увидели слева столб дыма.

— Деревню жгут, — прошептал лесник. — Как бы не нашу. Кривой-то тетку Агаш вывести должен.

Я представил себе, как загораются сухие хижины. Каждая коническая соломенная крыша становится круглым костром.

Далеко, метрах в полустах, дорогу перебежал некул. Я успел хорошо разглядеть его крепкое мохнатое горбатое тело на длинных, как у борзой, тонких ногах.

— Видели?

— Стрелять не хочу без нужды, — сказал лесник. — Могут услышать. Я так думаю, он не за нами охотится. У них теперь жратвы будет достаточно — спешит туда, к горе.

— Вы думаете, что они могут нас здесь подстерегать?

— Вряд ли. Но чем черт не шутит? Последнее дело других дураками считать. Они же знают, откуда я в деревню приходил.

Эта мысль казалась мне почти нелепой, принадлежащей к другому слою сна — к ночной части кошмара. Здесь не должно быть стражников, они исчезают утром.

Мы попали в засаду у самой двери в наш мир.

Стражники не осмелились к нам приблизиться, только окликнули издали: не были уверены, кто я такой. Мы побежали. До раздвоенной сосны было метров триста, но лесник вел непрямо к ней, а кустами, немного в сторону. Даже успел крикнуть:

— К нам не выведи, путай их!

Стражники стреляли из луков. Стрела вонзилась в спину лесника у меня на глазах. Он продолжал бежать, плутая между стволами, а черное оперенье стрелы, как украшение, покачивалось за спиной. Когда Сергей Иванович упал, стражники уже потеряли нас из виду, в чащу они не пошли.

Другая стрела прошила мне рукав, оцарапала локоть, повисла, запутавшись, в ткани рубахи. Я остановился, чтобы выдернуть ее. Вот в этот момент лесник и упал.

— Что с вами?

Не в силах поднять голову с выгоревшей желтой травы, он шепнул мне:

— Тихо.

Я дотронулся до стрелы, хотел выдернуть ее, но вспомнил, какие у стрел зазубренные, словно гарпуны, наконечники.

— Глубоко сидит, — прохрипел лесник. — Глубоко, до самого сердца. — В углу рта показалась капелька крови. — Не тяни... обломай...

Кто-то вышел на полянку. Я обернулся, шаря рукой по земле, где обронил топор, но не успел. Тяжелый удар пришелся по шлему и плечу. Я не потерял сознания, но упал, и боль была такой, что мне почудилось, я никогда уже не смогу вдохнуть воздух... Мне показалось, что я все-таки поднимаюсь, чтобы защитить лесника, потому что нельзя нам погибать здесь, в шаге от дома...

И тут я увидел, что над лесником склонилась Маша. Она гладила его по щеке, шептала что-то не по-русски, и, еще не сообразив, что это она ударила меня, приняв за стражника, я понял, что Сергей умер, — столько горя было в ее узких дрожащих плечах.

Почему-то, прежде чем подняться, подойти к ней, я принялся стаскивать муравьиный шлем, чуть не оторвал себе ухо, но все это было неважно, и неважно было, что не слушается рука и кружится голова, — я поднялся на колени и подполз к Маше. Она только мельком взглянула на меня.

— Скорей, — сказал я. — Они могут найти нас... Скорей.

Я не хотел думать, что лесник умер, — понимание этого отступало перед необходимостью как можно скорей перенести его обратно, домой. Если мы это сделаем, то все обойдется...

Я обломал стрелу у самой гимнастерки, мокрой от крови. Мы тащили Сергея лицом книзу, ни у меня, ни у Маши не оставалось сил, чтобы поднять его. Нам пришлось раза два останавливаться, чтобы отыскать дверь, и у меня тряслись руки от страха, что мы ничего не сможем сделать.

И когда мы, выбившись из сил, упали у самого шалаша, лесник сказал тихо, но четко:

— Ружье не оставляй.

— Господи! — ахнула Маша. — Какое ружье... какое еще ружье...

А я заставил себя подняться, пробежать по смятой траве к тому месту, где упал лесник, нашел ружье, взял почему-то и топор с двумя лезвиями, а когда вернулся, Маша уже наполовину втащила Сергея в шалаш, и я неловко, стараясь не упасть, помог ей протолкнуть его и самой втиснуться в черную завесу, бесконечную и краткую, и возвратить Сергея к себе, к болоту, соснам. Я знал, что если все это не сон, то там, у себя, я уже не смогу сделать ни шага, что Маше одной придется бежать по лесу, потом к дороге, в больницу, к врачу, и она может не успеть.